

Второй том



1856, 1857, 1858 и 1861 ГОДЫ

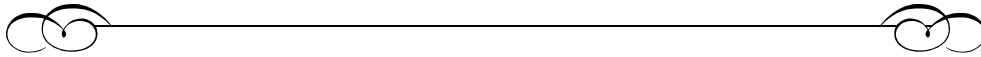


— |

| —

— |

| —



1856 год

Благослови, Господи, начало лета.

1-го января. Прошедший год надолго нам будет памятен. Не воротим прошедшего. Дай Бог, чтобы послужило оно по крайней мере уроком для будущего. На политическом горизонте собираются новые тучи, Австрия опять прислала нам мирные предложения на основании прежних 4-х пунктов и с прибавлением требования уступить часть Бессарабии в пользу Молдавии. Говорят, на эти предложения решили не соглашаться, а потому, вероятно, последует разрыв с Австрией, и, следовательно, война примет еще большие размеры. Одному Богу известно, чем это все может кончиться; а между тем мириться на постыдных условиях нельзя. К тому же условия эти таковы, что они не могут обеспечить продолжительный мир. Говорят, Франция действительно хочет мира, но Австрия, интриговавшая во все продолжение войны, не хочет прекратить кровопролития, пока не исправит свою военную репутацию.

Сегодня по случаю обручения великого князя Николая Николаевича было *baise main** в Зимнем дворце. Никто хорошенько не знает, какой будет послан ответ Австрии на ее предложения, но достоверно, кажется, то, что предложения эти не принимаются, а взамен Бессарабии предлагают Карс. Никаких существенных и замечательных наград сегодня не было.

5-го января. Сегодня на входе во дворец я узнал, что все предложения Австрии нами безусловно приняты и что ответ в этом смысле уже послан по телеграфу в Вену. Конференции будут происходить, вероятно, в Париже, и с открытием их объявлено будет перемирие. Это известие тем более всех поразило, что еще третьего дня достоверно знали, что государь предложения Австрии отверг и что вследствие этого Эстергази потребовал уже свои паспорта. Вчера, говорят, государь призвал на совещание нескольких лиц, а именно: великого князя Константина Николаевича, военного министра, Нессельроде, князя Воронцова, Мейендорфа и, кажется, Блудова, и на этом совете все единогласно согласились принять предложения. Итак, то, что мы неоднократно признавали постыдным — на то согласились. Не претерпев нигде решительно поражения, имея под ружьем около двух миллионов штыков и за собой —

* целование руки

время и пространство, мы добровольно кладем оружие. Чтобы решиться на это — должны быть уважительные причины. Могли ли советчики государя надлежащим образом обсудить эти причины? Кому из них в точности известно действительное состояние наших финансов и войск, и материальных средств, и действительное отношение к ним Австрии и Франции? На одни слова Долгорукова или Брока положиться нельзя. Говорят, великий князь сильно настаивал на мире. Эту причину я предчувствовал и объясняю теми несчастными обстоятельствами, его окружившими, о которых я буду говорить при случае. Хотя события последних двух лет могли бы нас приучить к страху, но все-таки не в такой мере, чтобы возможно было равнодушно принять известие о таком унижении. Что может Россия, полная еще воинственного азарта?

10-е января. Вчера вечером приехал из Крыма князь Михаил Дмитриевич Горчаков, я видел его на одну минутку сегодня утром, а вечером он был у нас, и мне удалось побеседовать с ним наедине. Его решительно назначают на место Паскевича в Варшаву и ждут для объяснения сего назначения смерти фельдмаршала. Горчаков, кажется, удивлен очень известием о мире; по его словам, трудно ожидать нам военных наступательных успехов, но для оборонительной войны с твердой решимостью не уступать во что бы то ни стало, и, несмотря на неудачу, для такой войны средства у нас есть. Князь Горчаков очень доволен приемом государя и мыслями его относительно администрации Польши.

Сегодня вечером я был у великой княгини, где были государь, государыня и почти вся царская фамилия. Государь был очень задумчив. Фонтон, один из главных деятелей в Министерстве иностранных дел, много содействовавший принятию условий, просил меня предупредить великого князя, что к нему на этих днях явится Нессельроде, чтобы получить сведения о том, какие нам нужны именно силы на Черном море для охраны берегов, но я просил его не путать меня в это дело.

При этом мы разговорились с ним о подробностях условий мира. Я предложил ему несколько вопросов, которых не мог разрешить, а именно: позволено ли будет туркам или кому-нибудь иметь флот в Босфоре, что об этом в условиях ничего не сказано и что иметь нам флот на Черном море не имеет смысла, ежели вход в Черное море из Босфора военным кораблям других наций не будет доступен. Также я спросил его, верит ли он в существование Турции и что думает он сделать с Константинополем, что будет с Карсом и проч. и проч. ... На все эти вопросы он отвечал только одно, что неужели я желаю определенности всех условий? Чем, по его мнению, неопределеннее оно, тем для нас лучше. Главное дело — начать конференции, а там все дело делается, ибо де Франция очень желает нам помогать, а мы со временем все приобретем, что потеряли. На это я заметил ему, что позволительно нам не питать большой надежды на утешения наших дипломатов. По мнению Фонтонна, мы решительно не имеем никаких средств вести войну, что все будут против нас и мы совсем пропадем. В заключение Фонтон прибавил, что он сам проплакал целый вечер, когда решено было согласиться на австрийские условия. В петербургских гостиных мнения и спо-

ры о войне весьма разноречивы, и они ровно ничего не доказывают, никак не могут уяснить понятия, ибо никто из говорящих ничего не знает определенного о наших средствах. Понятно мнение тех, которые видят в спорах необходимость как бы то ни было кончить войну, чтобы заняться внутренним устройством и тем дать России окрепнуть для новых подвигов. Люди, имеющие это мнение, верят, что правительство воспользуется уроками и временем и примется за дело. К несчастью, во мне этого убеждения нет, и мне положение наше представляется безнадежным.

18-го февраля. Я давно не писал дневник, а потому, что был очень занят составлением годового отчета. После строгого приказа¹, который наделал столько шума, надо было постараться сказать что-нибудь дельное. Я сказал в отчете всю правду, как знал, но эта правда ограничивается такими тесными пределами и часть моя такая специальная, что никакого интереса не представляет. Отчет будет напечатан в сборнике², но само собой разумеется, что многое, и даже почти все любопытное, будет пропущено.

Сегодня ровно год кончины покойного государя и рождения моего дневника — в последовательном порядке. Любопытно вспомнить весь прошедший год. Любопытно пройти воспоминанием весь прошедший год. Сколько обманутых надежд и сколько несдержанных обещаний. Определить характер первого года нового царствования весьма трудно. Преобразования коснулись только мундиров, и из этого никак нельзя заключить, чтобы это было бы только началом или введением к каким-нибудь более важным изменениям. Многие утешали себя надеждой, что по окончании года, т. е. законного срока официальной памяти по усопшему, новое царствование начнет действовать смелее и выразит свою, скрываемую до сих пор мысль. До сих пор еще государь носил аксельбант³, показывая тем, что он еще состоит генерал-адъютантом при покойном отце. Многие думали, что аксельбант этот будет сегодня снят. Но нет. Сегодня был во дворце выход и заупокойная обедня, и нового при этом было только то, что все дамы, по приказанию, явились в черных сарафанах, чего прежде не бывало. Граф Орлов отправился в Париж на переговоры, т. е. на почти безграничные уступки. Невольно вспоминаешь речь, сказанную государем в прошлом году дипломатическому корпусу, гвардии, а также манифест. Видно, тогда это говорилось и писалось без серьезного убеждения. Впрочем, после всякого выхода я делаюсь до крайности миролюбивым, потому что когда вижу все власти наши в сборе, я решительно убеждаюсь, что воевать нам — значит проливать даром невинную кровь. Не могут, решительно не могут настоящие деятели довести дело до настоящего конца. Долго ли может продолжаться мир на шатких условиях — это известно одному Богу, но верно то, что и миром мы не воспользуемся, одного желания блага недостаточно, надо иметь голову, чтобы обсудить полезное, надо иметь разум, чтобы исполнить благое намерение. Я на днях имел предлинный разговор с великой княгиней Еленой Павловной, она видит вещи ясно и так же, как и я, ничего не понимает, что делается. Теперь все мысли и все внимание обращены на имеющую быть, в случае мира, коронацию 15-го июля. Затеваются разные празднества, а между

тем в Крыму и во всей южной России страшная смертность от тифа, который принимает характер самый злостный и прилипчивый. По представлению новороссийского генерал-губернатора графа Строганова составлен здесь комитет для принятия мер против распространения сей болезни, а также, в особенности, для определения мер, которые нужно будет принять в случае мира, в Крыму, где весь полуостров почти есть не что иное, как кладбище, и потому там гнездо всяких болезней, а может быть даже чумы. Я назначен от Морского комиссариата членом этого комитета, который собирается в Министерстве внутренних дел, под председательством товарища министра Левшина. Я забыл сказать, что Левшин назначен недавно товарищем министра на место Лекса. Сей последний под конец был совершенным идиотом и в этом положении с успехом подвизался на этом поприще. Левшин во многом выше его и относится к нему, как пятерка к 2-ке, но не больше.

3-го марта. Отсутствие замечательных событий поощряет мою лень писать, поэтому, откладывая со дня на день, совершенно запускаю свой дневник, и, таким образом, он теряет свое значение. Буду стараться писать ежедневно, только таким образом можно сохранить в памяти мелочные факты и разговоры, которые будут иметь со временем значение. Сегодня ничего сказать не могу, ибо никого не видал и ничего не слышал. Я говею⁴ и завтра буду приобщаться в нашей домово́й церкви, которая недавно была освящена.

8-го марта. По-видимому, мир уже заключен, по крайней мере о нем говорят уже как о событии, не подлежащем сомнению. Все заняты приготовлением коронации. Вдовствующая императрица собирается за границу и уедет даже, может быть, прежде коронации; хотя здоровье ее действительно плохо, но это несколько не должно оправдывать неприличие путешествия и траты денег в такое тяжелое для России время. Говорят о назначении Долгорукова — военного министра — посланником в Париж, а Орлова — на место Нессельроде, но все это весьма неправдоподобно. Между тем внутри России ожидают все существенных преобразований еще и со всех сторон посылаются к разным лицам в Петербург записки о разных предметах и о разных вопросах.

Проектам железных дорог нет конца; о финансах, внешней торговле и крепостном состоянии пишут и толкуют везде. Многие напьются во время коронации. В Москве пустили в ход разные предположения, думают заинтересовать жизненными вопросами людей, не имеющих вовсе никакого сочувствия ни к каким вопросам.

Из Москвы и провинции начинают приезжать сюда люди с разными проектами, многие из них являются ко мне, читают иногда весьма дельные вещи и упорно надеются, что правительство, наконец, выслушает их и займется делом. Разными путями всякий ищет возможности провести свою мысль, но все напрасно, никто их не слушает и никто серьезно ничем не интересуется, что, конечно, ставит гг. прожекторов в немалое удивление, ибо они как приезжие не знают настоящего положения вещей. Сегодня был у великого князя, советовал на его вопрос, ехать ли на коронацию (причины и проч.)? У На-

полеона родился сын. Все этому необыкновенному человеку до сих пор удастся, что будет впереди? На него я много надеюсь, он может нам много пользы сделать, ежели захочет с нами иметь дело. Конечно, ежели князь Долгоруков будет наш представитель, то трудно ему будет с нами знаться, союз Франции с Россией есть смерть для Англии, и, конечно, она употребит все старания, чтобы помешать этому союзу. У нас теперь втихомолку затеваются дела, которые могут иметь самые гибельные последствия. Нессельроде с братией, удалив Скрыпицына из Департамента иностранных исповеданий, затевает в точности и даже с прибавкой исполнять безрассудный конкордат, который Блудов состряпал еще в прошедшее царствование с Папою Римским. Киселев, бывший нашим поверенным в делах в Париже и явно обнаруживший свою ежели не измену, то неспособность, назначен посланником в Рим. Он будет представителем православия перед Папой: человек, который ежели не безбожник, то, конечно, католик. Что можно от него ожидать? Теперь, перед отправлением Киселева в Рим, собирается у Нессельроде Комитет, толкуют о католических делах. Уже объявлено, что в разных местах России учреждаются 7 католических епископств и, между прочим, в Оренбурге будет католическая семинария. А между тем со смертью Протасова⁵ Православная церковь лишилась последнего защитника. При таком положении нашей церкви, при совершенном ее рабстве перед светской властью, хотят оказывать сильное покровительство Римской церкви, которая, в особенности в последнее время, поставила себя к православию в совершенно враждебное отношение и вражду эту возвела в догмат. Еще бы можно было понять это несчастное ослепление, ежели бы правительство вместе с тем, проповедуя свободу церкви, освободило бы и свою господствующую церковь от того ига, под которым она замирает, но нет, этого намерения не видеть. Что же из этого будет — одному Богу известно.

16-го марта. Срок, назначенный для примирения, скоро окончится, а об окончательном заключении мира еще ничего официально не объявлено. Впрочем, говорят, что условия мира уже подписаны и он не подлежит сомнению. Вероятно, на сих днях узнаю что-нибудь поинтереснее. Государь с великими князьями уехал в Финляндию и будет завтра назад. Все заняты теперь приготовлением к коронации, т. е. к праздникам, а между тем в Крыму и вообще южной России страшно свирепствует тиф, и войско, говорят, нуждается в довольствии. Никаких мер к водворению порядка не принимают, а в обществе слышно постоянно одно только обвинение исполнителей в краже. Я вовсе не отрицаю несчастного факта бесчисленных злоупотреблений по всем частям нашего управления, но при этом я убежден, что, кроме кражи, есть и другие, более существенные причины всех неустройств, от которых страдает войско в Крыму и вообще вся Россия. На эти причины, которые происходят от сущности и общего направления нашей администрации, никто не хочет обращать внимание. Обществу, конечно, не могут быть известны в точности настоящие вредные последствия всей системы управления. Оно даже и не знает, в чем состоит эта система, а потому естественно, что оно, сознавая только, что мно-

гие из служащих крадут, всю вину относят к краже и беспощадно винят мелких исполнителей, оставляя в стороне главных виновников зла и, до некоторой степени, оправдывая их тем, что никакие усилия правительства невозможны, когда безнравственность служащих дошла до того, что все и везде грабят и думают только о своей пользе. Естественно, последствием такого мнения является то, что русский народ испорчен и никуда не годится, что грубость и невежество не позволяют правительству сделать то, что оно желает, и что все спасение состоит в какой-то абстрактной идее цивилизации и в употреблении немцев и проч. и проч. ... Никто не хочет понять, что в Крыму, например, войско сидит без хлеба не от того, что деньги, отпускаемые на хлеб, украдены, а оттого, что никто не распорядился толком, чтобы его туда доставить. Ежели бы из отпущенных, положим, 100 тысяч рублей было украдено 50 тысяч, то все-таки на остальные 50 тысяч было бы сделано что-нибудь, а мы видим, что и эти 50 тысяч пропали даром и не остались в руках исполнителей. Все высшие и низшие деятели нашей администрации не привыкли действовать самостоятельно и разумно для всякого частного случая, всякий ждет приказаний и исполняет свои обязанности в точности и в пределах своих прав, весьма ограниченных. Система нашей администрации до сих пор от исполнителей требовала только равнодушного исполнения данного какого-нибудь приказа — всякое проявление собственной инициативы подчиненных почиталось вольнодумным, всякий исполнитель и вообще деятель на всех ступенях администрации заботился не о достижении цели своего поручения или своей обязанности, а только об ограждении себя от ответственности. Можно ли при таких условиях ожидать какой-либо пользы от людей, даже не берущих взяток? Собери со всей Европы всех честнейших и способнейших чиновников и подчини их этим условиям, — и дело пойдет так же скверно, как оно идет у нас.

На сих днях был по моему департаменту случай, чрезвычайно верно выражавший эту истину. Он порадовал меня, доказав мне, что усилия мои дать жизнь администрации в моем тесном кругу отчасти достигают цели. Вот в чем дело: в нынешнем году некоторые команды были расположены на зиму в Новоладожском уезде, где моряки никогда прежде не зимовали, поэтому не было там устроено ни магазинов, ни складов провианта, ни лазаретов, ни других хозяйственных заведений; все это надо было устроить на скорую руку, и все это было сделано вовремя и хорошо. Между прочим, для отпуска продовольствия в команды и для снабжения и постоянного довольствия лазаретов послан мною на место чиновника особых поручений некто г. Баш⁶... господин этот, хотя не старый, но старого покроя чиновник, от которого ни живого слова, ни собственной мысли я никогда не слышал и слышать не мог. Он привык только исполнять то, что ему приказывали, и затем, ежели бы он сам загорелся, то, кажется, без приказа тушить себя не стал бы. В прошедшем году я пробовал употреблять его, но он, не понимая моих требований, ничего толком не сделал. К величайшему моему удивлению, получаю я от него на днях рапорт, в котором он мне пишет, что он о з а б о ч е н тем, что с приближением весны увеличивается число больных и что может случиться недостаток

помещения в лазаретах, устроенных в Ладогe. С первого раза меня изумило уже то, что г. Баш сам, без приказанія о з а б о ч и в а е т с я, этого с ним, конечно, не бывало прежде сего, но дальше он пишет, что он не только озабочен, но что он уже написал в квартирную комиссию об отводе ему другого дома, следовательно, вот уже он начал переписку, не дождавшись приказаний. Прогресс. Квартирная комиссия отвечает ему, что свободного дома под лазарет в Ладогe нет, но что, во избежание ответственности, она указывала ему на дом, отведенный для лазарета Донской батареи, которая находится в походе, а потому дом стоит совершенно пустой. Г. Б., опять без приказаний, сам решает писать к начальнику инвалидной команды⁷ и просит его уступить незанятый дом. Начальник инвалидной команды отвечает, что не имеет на это никакой власти и приказанія и, в о и з б е ж а н и е о т в е т с т в е н н о с т и, поручает Б... обратиться к какому-то другому начальнику. Г. Б... продолжает писать к этому начальнику, а тот отвечает, что он дом, отведенный для Донской батареи, хотя вовсе для сей батареи ненужный, без особого разрешения высшего начальства уступить не может и на ответственность свою такого действия принять не согласен. Г. Б... и тут не унывает, он решается, не ожидая приказанія, нанять дом, присматривает его, уславливается в цене и доводит обо всем до моего сведения. Такой храбрости я решительно не ожидал, и, разумеется, утвердил все эти распоряженія и похвалил ревность. Этот случай, по моему мнению, совершенно объясняет настоящую причину всех наших бедствий. По обыкновенному порядку и в прежнее время ђ Б... решительно бы не озаботился заранее об увеличеніи лазарета, а ежели бы и озаботился, то вошел бы об этом с представлением, и засим завязалась бы переписка, которая решительно остановилась бы при желательном отзыве всякого начальства. А между тем больные лежали бы на улице, и в Петербурге, ежели бы об этом узнали, то стали бы кричать, что все оттого, что чиновники крадут, где уж тут кража... тут только точное исполненіе обязанностей. Кто виноват? Военный начальник знает, что он инструмент, который не должен рассуждать, он знает, что он власти никакой не имеет и что начальство за разумное его действие с него взыщет, а взыщет оно потому, что само находится в таком же отношеніи к своему начальству, и т. д. ... Всякое начальство имеет какое-нибудь поставленное над ним главное начальство, которою общее направленіе и есть причина всех зол. С лишком 30 лет оно последовательно губило дух, мысль, сознание, чувство — и вот его плоды. А общество все бранит взяточников, право, досадно слушать... На досуге напишу, для уясненія понятій, статью на следующую тему: Россія гибнет не от злоупотребленій служащих, а от точнаго исполненія ими служебных обязанностей.

20-го марта. Мир заключен и объявлен вчера на манифесте. Манифест писал граф Блудов. Он не отличается особой энергией, не объясняя ничего в настоящем и не обещаая ничего в будущем. Об условиях мира ничего определенного неизвестно. Об уступках наших в манифесте, между прочим, сказано так:

«Чтобы ускорить заключеніе мировых условий и отвратить даже в будущем самую мысль о каких-либо с нашей стороны видах честолюбія и завоева-

ний, мы дали согласие на установление некоторых слабых предосторожностей против столкновения наших вооруженных судов с турецкими на Черном море и на проведение новой граничной черты в южной, ближайшей к Дунаю, части Бессарабии».

Кроме того, в манифесте сказано, что целью войны было желание государя (покойного) оградить права православных христиан на Востоке, и эта цель достигнута тем, что султан торжественно признал сии права и уравнил их. «Россияне, — говорит манифест, — труды ваши и жертвы были не напрасны. Великие дела совершились, хотя иными, непредвиденными путями». Писавший манифест, вероятно, также уверен, как и я, что права православных христиан теперь менее обеспечены, чем прежде, ибо не только насильно выманенная уступка Порты⁸ никогда не будет приведена в действительное исполнение, но, кроме того, к игу магометанскому прибавляется еще постоянный и сильнейший гнет католический и протестантский. Поэтому весь манифест — ложь. Конечно, правду сказать тяжело, но торжественное выражение ее в различных формах выражало бы силу, и ежели бы при этом прибавлено было обещание, что данным уроком не преминут воспользоваться, то, конечно, это бы ободрило многих и помирило бы с постыдным миром, к которому мы не привыкли. Впрочем, если нет решительного намерения приступить к улучшениям, то, конечно, лучше наперед ничего не обещать и не вводить в заблуждение верноподданных. Во всяком случае, можно покориться необходимости мира, а радоваться ему с весельем не из чего. Мне все-таки сдается, что миром пользоваться мы будем недолго, даже и настоящему объявлению как-то не верится. Война подняла бездну вопросов и ни один из них не разрешила удовлетворительно. Сами условия мира таковы, что при исполнении их на каждом шагу может встретиться повод к войне. Конечно, надо надеяться, что ежели возгорится снова война, то на стороне нашей будут более выгодные условия, чем прежде. Между тем все военные приготовления останавливаются. По нашему ведомству составлены уже новые соображения, и, согласно им, нужно многое переменить и отменить, вследствие чего мне работы еще прибавилось и вряд ли мне удастся летом отлучиться из Петербурга. За границу готовится совершенная эмиграция, кого ни встретишь, кого ни спросишь — все едут куда-нибудь вон из России. В этом отношении пример подает двор. Вдовствующая императрица, Мария Николаевна и Елена Павловна отправляются; все надеются, что паспорта⁹ будут выдаваться беспрепятственно. Вероятно, многие уедут надолго, а может быть, и навсегда. Я этому рад — п о р я д о ч н ы е л ю д и о с т а н у т с я , а д р я н и н е ж а л ь . Сегодня утром я узнал, что в Константинополь предполагается послать посланником графа Панина, то-то обрадуется все Министерство юстиции, это действительно будет великая польза для этого ведомства, но каков Панин будет посланником — это никак нельзя сказать. Верно только то, что он будет вести дела как никто и собьет с толку и своих, и чужих, никто ничего не поймет. Быть может, это будет хорошо. Так как меня гораздо больше занимает наша внутренняя администрация, чем внутренняя политика, то я весьма буду рад, ежели наша не-

счастливая юстиция таким способом освободится от Панина: всякий, назначенный на его место, будет менее вреден.

Войны как будто не бывало. Подробные условия трактата еще не объявлены, хотя они уже подписаны государем, но кажется, что все так довольны миром, что об условиях уже не думают. Все толкуют только о разных переменах в личном составе управления. Нессельроде и Сенявин положительно оставляют министерство, князь Долгоруков также. О кандидатах на замещение сих мест толкуют разное, но, вероятно, это скоро будет решено. Сегодня мне сказал великий князь, что говорят о назначении Чевкина министром финансов, но этому мне как-то не верится.

Государь ездил на днях в Москву, где, говорят, был принят отлично. Филарет, как водится, сказал речь, в которой, по своему обыкновению, сказал каламбур: «Враги нас не победили, но Ты победил вражду...».

Кстати, о Филарете узнал я весьма утешительную новость. Он на днях прислал обер-прокурору Синода, говорят, весьма сильный протест против конкордата и против замыслов о приведении его в исполнение; государь прочел протест, смутился и не приказал передавать его князю, а хотел сам в Москве переговорить с Филаретом. Чем кончится этот разговор — мне неизвестно, но во всяком случае я уверен, что Нессельроде с братией не очень будет доволен этим. Замыслы католической и просто бессмысленной западной партии могут быть изобличены. Удивительно, как легко проводятся у нас вредные меры и как, наоборот, трудно провести что-нибудь полезное. В первом случае все невидимые силы помогают, и обстоятельства так складываются, что все идет как по маслу, а попробуй затеять что-нибудь полезное... тысячи препятствий, так что не знаешь, кого винить. История этого конкордата весьма замечательна; не нужно быть глубоким администратором или хитрым политиком, чтобы понять, что при настоящем положении нашей церкви может быть допущена разве только терпимость католического вероисповедания, но отнюдь не усиленное ему покровительство. Латинская церковь явно поставила себя во враждебное отношение к православию, и везде, где она находится в соприкосновении с ним, везде она действует всеми силами и тайно, и явно, ко вреду православия. Стоит только посмотреть, что делается теперь в Австрии. Наконец, достаточно одного поверхностного чтения конкордата и папской буллы¹⁰, изданной в 1848-м году по поводу сего конкордата, чтобы убедиться, что не может латинство без вреда у нас пользоваться такой свободой, которую ему хотят дать.

Замечательно, что конкордат этот подписан с нашей стороны Блудовым, который был послан покойным государем в Рим для переговоров, и теперь он же, Блудов, старается защитить свое произведение. Добро бы все это делал какой-нибудь немец или русский западник, а то нет — Блудов, который выдает себя и слывет по преимуществу русским. Этот господин, по моему мнению, вообще бессознательно наделал много вреда России, потому что он, в сущности, пустейший господин, бестолковый говорун, без убеждений, который написал за свою жизнь бездну законов, которых цель и сам не понимает, а о практическом применении их никогда и не думал, потому что, положительно, делом никогда не занимался. Теперь же, ко всему этому, он из ума

выжил. Несмотря на это, занимает несколько должностей, а именно: председательствует в Государственном совете, за отсутствием Чернышева, продолжает писать законы во 2-м отделении и, наконец, недавно сделался президентом Академии, и еще готов принять сколько угодно мест. Чернышев, наконец, подал, говорят, в отставку, вероятно, по приглашению, ибо добровольно эти господа не отказываются от мест, хотя уже и сидеть не могут. На место Чернышева назначают графа Орлова, от этого, вероятно, ход дела не изменится, разве он решится окружить себя другими деятелями, не похожими на Буткова и компанию. Фигура Орлова, как видно, производит большой эффект в Париже, ему приписывают много острых и колких ответов, которых он, вероятно, сам не говорит, но это все равно. По-видимому, французы очень рады миру и дружбе с Россией. Дай Бог, чтобы правительства поняли свои взаимные интересы и поверили бы той истине, что недаром французы и русские всегда и везде друг другу сочувствуют и что им высшим суждено Провидением совершать великие дела. Лидерс доносит из Крыма, что, по получении известий о мире, французское войско, так сказать, бросилось в объятия наших солдат и предаются взаимному веселью, — инстинктивно понимают народы, кто их общий враг. Неужели суждено политике всегда идти против естественных влечений? Немцы и англичане равно противны нам и французам. Я надеюсь, Наполеон это дело поймет скорее нас и заставит нас быть умнее. Эта надежда примиряет меня с постыдным миром, и ежели бы не ежедневное разочарование, то я бы, кажется, готов был восстать духом и поверить, что наступают лучшие времена, но как посмотришь вокруг, как вспомнишь, что делается и чем занимаются, так невольно опять одолевает смущение. Быть может, я слишком близко вижу вещи, и от этого в глазах рябит, но зато другие стоят слишком далеко и видят так же неясно. Счастлив тот, кто стоит в середине, но для этого надо удалиться из Петербурга, по крайней мере на несколько времени.

13 апреля. К завтраму или, лучше сказать, к послезавтраму, т. е. к Пасхе, обещают нам много новостей. Многие из этих новостей уже известны, а именно: назначение князя Горчакова вместо Нессельроде, Ивана Толстого на место Сенявина, князя Долгорукова в Париж, но самое любопытное, а именно, кто будет военным министром, этого еще не знают, быть может, даже об этом не будет объявлено и завтра. В ожидании всех сих новостей припомним прошедшее.

Очень много и почти повсеместно говорят о речи¹¹, которую будто бы сказал государь в Москве представлявшимся ему уездным предводителям дворянства. В этой речи или в этих словах он коснулся крепостного состояния и выразил мысль, что хоть он и не желает в настоящее время подымать этот вопрос, но тем не менее приглашает дворян обдумывать его, потому что лучше, чтобы разрешение последовало бы сверху, а не снизу. Вот, в сущности, вероятно, что было сказано и что можно вывести из бесчисленного множества разного рода редакций. Слова государя — одни выражают их в весьма либеральном смысле, другие, напротив, дают им совершенно противоположное значение. Настоящей редакции я добиться не мог, но, по-видимому, слова были выражены весьма неясно,

ибо все поняли различно. Неясность выражения доказывает неясность того, что желают, это очевидно. Эта неопределенность делает более вреда, чем самая энергическая или вредная мера. Как будто для того, чтобы сбить окончательно всех с толку, напечатан сегодня в полицейской газете циркуляр Министерства внутренних дел к губернаторам и губернским предводителям дворянства.

В нем не видать никакой ясной мысли, весь смысл, вероятно, скрывается в междустрочии. Приводя слова манифеста о том, что государь желает устроить внутренний порядок в России, министр призывает к содействию губернаторов и предводителей и внушает им, чтобы они исполняли свои обязанности, и говорит кучу фраз и общих мыслей, ничего не значащих, но при этом неоднократно повторяет, что надо поддерживать вполне помещиков и удерживать крестьян в повиновении. Практического значения этот циркуляр не имеет никакого, но ясно, что он написан недаром и что им хотели что-то сказать, но что именно, того без комментариев понять нельзя. Все это служит ясным доказательством отсутствия положительного убеждения и силы. Ежели хотят, чтобы вопрос был разрешен сверху, так надо действовать иначе, но до сих пор все делается так, чтобы вышло наоборот. Не только внутри России, но и мы здесь, в Петербурге, близко знающие все, не можем дать себе положительного отчета о том, чего именно желает правительство, хочет ли оно заняться вопросом освобождения крестьян или нет.

Теперь начинают распускать ополчение, велено спрашивать ратников, не желают ли они оставаться на службе, и желающих приказано оставлять с выдачей помещикам и обществам отчетных квитанций. Любопытно будет узнать, много ли явится охотников оставаться на службе. Трудно предположить также, чтобы ратники, поступившие на службу от дурного помещика, вернулись бы к нему, хотя и по собственному желанию, со спокойным и покорным духом.

Вчера я получил из Москвы от Аксакова письмо, в котором он мне пишет, что Хомякова призывали в полицию и по высочайшему повелению взяли с него подписку и объявили приказ сбрить бороду и не носить русского платья. Эта мера касается вообще всех дворян. Я показал это письмо старику князю Хилкову, и он так этим смутился, что сегодня сбрил свою прекрасную седую бороду, предохранявшую его от кашля. Сегодня получил от него записочку следующего содержания:

«Письмо К. Аксакова меня расстроило и огорчило, я не чувствую в себе ни малейшего возврата на свою бороду, которой уже нет. Но без нужды оскорблять Хомякова очень больно, особенно всем тем, которые преданы царю, любят Россию и желают правительству успеха во всяком улучшении. Наша полиция не парижская префектура. У нас сказать о человеке, что он был в полиции — это оскорбление. Без всякого преувеличения Хомяковым не должна ли Россия гордиться, не делает ли он русскому имени честь? Не во главе ли он у нас образованности, религиозности, гражданственности, семейственности? Оскорбить его — оскорбить Россию. Боже, царя храни».

Эти трогательные слова отчасти справедливы, хотя я уверен, что Хомяков не считает себя обиженным. Обижены мы все неоправданием наших надежд, подобные выходки не согласны вовсе с той терпимостью, которая как будто

стала проявляться в последнее время, слишком они напоминают прошедшее. Не говоря уже о том, что нет никакого смысла в России запрещать носить русское платье, эта мера не может оправдываться даже и тем предположением, что будто бы ношение русского платья есть внешний признак известного образа мыслей, ибо правительство не может не знать, что число людей, носящих бороду и русское платье так незначительно, что они никакого ровно влияния ни на кого не имеют, и что всякое гонение на них имеет вид совершенной несправедливости и придает им значение, которого бы они сами по себе иметь не могли. Странное дело, право, что по какой-то необъяснимой слепоте правительство нападает именно на тот образ мыслей, который один защищает все начала, которыми правительство наше крепко и сильно. «Убоюсь страха идеже не бе страх». Я, впрочем, не придаю никакого значения этому преследованию русского платья и бород — сегодня это так, а завтра будет иначе. Говорят, в Москве во время коронации будет устроена соколиная охота и все участвующие в ней будут одеты в русском боярском платье. Ежели этот праздник удастся, то пойдут в моду и русские кафтаны и бороды. Всеобщие ожидания разных перемен к празднику оправдались только отчасти. В первый день, у заутрени, объявлено было только назначение князя Горчакова на место Нессельроде и Толстого на место Сеньявина. У вечерни стали говорить об окончательном увольнении князя Долгорукова, а на другой день известие это объявлено было в приказах, а на место военного министра назначен командир 3-го корпуса Сухозанет. Хотя уже несколько дней перед сим поговаривали, что Сухозанет вызван в Петербург и что он должен войти в какую-то комбинацию при преобразовании личного состава Военного министерства, но такого внезапного назначения прямо на место министра никто, кажется, не ожидал, и ему вообще удивляются. По моему мнению, выбор Сухозанета очень хорош, по всей вероятности, князь Михаил Дмитриевич Горчаков указал на Сухозанета. Он человек честный, умный, прямой и, несмотря на старость и плохое здоровье, энергический. Но главное его достоинство заключается в том, что он человек посторонний, не причастный ни к каким здешним интригам и не погрязший в министерском формализме. Взятый из среды действующих войск, ему должны быть коротко известны все недостатки и злоупотребления, он видел их вблизи и, вероятно, будет теперь смотреть на дело ясно и пойдет в своих действиях прямо к цели. Нельзя же ему на старости лет начать учиться науке, известной под названием фифиологии, а потому, конечно, профессора этой науки — гг. Катенины и прочие — ему будут не по нутру, и он с ними не сойдется. Мне положительно известно, что, кроме военного министра, предположено было учредить новое звание или должность вроде начальника Главного штаба и эту должность предлагали князю Виктору Васильчикову, который от оной отказался, ибо не считал возможным быть полезным на этом месте по причинам, мне неизвестным, а, как кажется, оттого, что вся комбинация сего нового учреждения казалась ему весьма неудобной. Во всяком случае отказ от места, которое бы давало ему возможность ежедневно видеть государя и почти постоянно при нем находиться, делает великую честь бескорыстию Васильчикова. Я много ожидаю от этого молодого, но уже всеми уважаемого генерала. Дай Бог, чтобы ожидания мои сбылись.

Я получил к Пасхе первый орден и сделался в первый раз кавалером, миновав все низшие степени разных орденов, я получил прямо Владимира 3-й степени на шею при весьма любезной записочке великого князя. Признаюсь, я был обрадован этой наградой, хотя и ожидал ее, ибо сотоварищи мои по службе получили уже этот орден. Мы так избалованы наградами, которые выдаются в сроки, что награда радует вас как долг, возвращенный в срок. Гаккель справедливо заметил, что странный обычай завелся в России — всякий требует награды и недоволен, когда не дают ему оной в срок. «Помилуйте, — говорит, — я целый век честно жил, почти совсем не делал подлостей, как же мне не дают ни чина, ни ордена». Это заключение совершенно справедливо, совершенного бескорыстия у нас на службе нет, может быть, впрочем, это происходит оттого, что награды даются не за отличие какое-нибудь, а просто за исполнение обязанностей, без особых признаков, а потому отсутствие награды считается признаком неудовольствия. Откровенно скажу тоже, что ежели бы сослуживцы мои не имели уже этого ордена, то мне было бы положительно совестно его получить, не сделав на служебном поприще ничего особенно замечательного.

Во вторник 17-го числа — день рождения государя — был выход, а вечером во дворце был большой бал на 2000 человек. Праздник был великолепен, и ужин — весьма роскошен; по-видимому, праздники будут часто повторяться. В городе была приготовлена великолепная иллюминация, которая по случаю дурной погоды и бала во дворце была отложена до следующего дня, а так как на другой день погода сделалась еще хуже, то иллюминацию отложили до четверга. В этот день, несмотря на дождик и холод, улицы осветились и толпы народа гуляли по улицам. Государь проезжал по главным улицам, и народ кричал «ура», окружая коляску, в которой он ехал с наследником. Энтузиазм был неподдельный. Сегодня мне случилось слышать престранный отзыв об этой иллюминации от одного господина, который сам живет в захолустье и слышит, и повторяет мнение тех людей, которые принадлежат к низшим слоям нашего образованного общества. Этот господин уверял меня, что приказание зажигать иллюминацию в дождик дано было спьяну и что очевидец рассказывал будто бы ему, что он сам видел, что государь был в нетрезвом виде и испугался, когда народ обступил коляску. Этот нелепый рассказ поразил и удивил меня, тем более что я еще прежде слышал подобные отзывы, но не придавал им значения. По-видимому, эти нелепости распространяются в известном кругу, и им верят. Это очень дурно и, по-моему, весьма скверный признак. По всей вероятности, придворное лакейство первое распространяет подобный вздор.

Покойный государь, особенно в последнее время, мало ел и пил, а нынешний, говорят, большой гастроном, вот отчего возникли, вероятно, слухи, которым готов верить средний класс общества, ибо мнение свое всегда основывает на сплетнях и разных глупых анекдотах.

Вчера, наконец, напечатан мирный договор, подписанный в Париже. Вслед за трактатом напечатаны рескрипты¹² Нессельроде и Долгорукову. Это случайное соединение в одном номере трактата и рескриптов, без сомнения, будет объясняться не в том смысле, что правительство как будто приносит этих

двух лиц в жертву за бесславный мир, им принятый. Рескрипт Нессельроде, по-видимому, был сперва написан по-французски, а потом уже переведен на русский язык, ибо по-русски он довольно безграмотен и бессмыслен и даже может быть принят в укорительном смысле. Все статьи трактата более или менее были уже известны, а потому настоящая публикация не произвела, по крайней мере здесь, большого эффекта. Впрочем, кажется, все уже помирились с миром и весьма довольны настоящим, не помышляя о будущем. Впрочем, все последние перемены в личном составе правительственных лиц вообще одобряются и в них видят залог исправления. Мне только удивительно то, каким образом серьезные люди могут верить, что мир заключен, когда ни один вопрос, поднятый войной, не только не разрешен, но, напротив, еще более натянут. Каждая статья трактата может при первом случае подать повод к войне, и она скоро вспыхнет, я в этом убежден. Поэтому следовало бы продолжать готовиться к войне: может быть, война будет при более для нас благоприятных обстоятельствах, но она все-таки будет, а потому деньги, оружие и порох нужны и дремать не следует. Но нет, деньги пойдут на заграничное путешествие и на коронацию. Оружие и порох соберутся приготовить, когда будет поздно. *Qui vivera — vera!**

29-го апреля. Изменения в формах обмундирования еще не прекратились — сегодня перемена формы для флота. На этот раз я был одним из главных участников этого преобразования. Еще в прошлом году я несколько раз доказывал великому князю, что не будет во флоте порядка, пока не отнимут у командиров обязанности быть закройщиками и заниматься хозяйственной частью, в которой они находят всегда средство наживать деньги посредством разных экономий, производимых, разумеется, на счет нижних чинов, через это происходит много всякого вреда. Я предлагал отпускать на команды шитые вещи на три роста и тем лишить командиров возможности воровать на материалах. Но для того, чтобы команды могли довольствоваться готовым платьем, надо было решиться не требовать от них пригонки и выправки, а позволять носить платье широкое и свободное. В прошедшем году князь слышать не хотел о такой перемене, но в нынешнем году я коснулся опять этого вопроса в отчете, а потом подал об этом особую краткую записку. Это подействовало, и великий князь решился предложить государю вовсе уничтожить во флоте мундиры как платье для матроса совершенно излишнее, в котором он не может ни работать, ни отправлять службу. Вместо мундира предполагал давать широкое пальто и фланелевые и полотняные рубахи. А образцы были приготовлены, и сегодня водили людей на показ государю. Я, по приказанию великого князя, присутствовал при смотре в Зимнем дворце. Государь эту форму утвердил, и, таким образом, теперь сделается возможно существенное изменение к лучшему всей хозяйственной части во флоте. В то время, когда мы ожидали в приемной выхода государя, князь Долгоруков, бывший военный министр, делал свой последний доклад в присутствии своего преемника. Они

* Поживем — увидим!

вышли оба из кабинета государя, и я заметил на лице Долгорукова сильное смущение, вероятно, прощание было весьма трогательно. В государе я заметил некоторую перемену. Он опять похудел и имел болезненный вид. Сегодня происходил обычный майский парад. В прежние времена вид огромной массы войска в полном блеске поражал воображение и казался воплощенным выражением и залогом силы и непобедимости России. Теперь призрак этого исчез, и эта толпа вооруженных людей наводит тоску на душу при воспоминании о постигших нас бедствиях. Само это Марсово поле, на котором утратило наше войско все военные свои доблести, хотелось бы поскорее застроить, чтобы не было на нем больше парадов.

Англия, Франция, Австрия и Турция после ратификации мира составили опять союз против нас, к величайшему нашему удивлению. Политика наша не только этого не предвидела, но и не знала до последней минуты. Вот тебе и союз с Францией... Вот тебе и новая система политики... Опять одурачены мы как нельзя хуже. Стыдно читать напечатанные во французских газетах протоколы заседаний конференций в Париже. Несмотря на всю краткость изложения, ясно видно, что наши представители не смогли слова пикнуть в защиту наших интересов и только кланялись и благодарили. Эх, ежели бы был у нас теперь человек... Какая чудная была бы теперь минута развязаться с Европой, которая нас знать не хочет и, действуя в этом случае по воле Божьей, ясно учит нас, как нам следует быть, т. е. сидеть дома да заниматься своим делом. Неужели не поймут, что лучше не играть нам никакой роли в Европе, т. е. не иметь в ней даже официальных представителей, чем играть роль второстепенную. Хоть бы на 10 лет отказаться нам от всякого европейского, с кем бы то ни было, союза, а приготовиться собраться с силами и тогда выбирать, с кем знаться, кого любить и кого бить. Нет, не похоже на то, чтобы мы и теперь за ум взялись. Посылают Долгорукова в Париж, от этого ему не поумнеть, что он с берегов Невы переедет на берега Сены. Наполеон после часового разговора увидит, с кем имеет дело, и, конечно, немало подивится выбору. В Константинополь тоже назначен Бутенев, об этом и дамы в салонах смеются. Едет он в Константинополь, по собственному признанию, затем, чтобы получать 25 тысяч жалования, а он человек семейный и потому простительно, что хлопотал получить это место. Князь Горчаков предлагал его Устинову, который хотя человек больной, но умный и доказавший свое знание Востока, но Нессельроде употребил все силы, чтобы назначение это не состоялось. Причина неудовольствия Нессельроде на Устинова очень замечательна: Устинов в 1847-м году был посланником в Константинополе и тогда уже предупреждал наше правительство о том, что готовится против нас коалиция на Востоке, и настоятельно советовал готовиться к войне. Но ему в ответ Нессельроде послал первое наставление, чтобы он не верил призракам и не подозревал англичан, лучших друзей России, а потом, когда Устинов настаивал на своем мнении, то был формально отозван. Я сам видел подлинную переписку Нессельроде с Устиновым по этому предмету. Одного письма достаточно, чтобы по всем правилам юридической науки повесить Нессельроде за измену, вольную или невольную, для нас это все равно. Ежели он России не предан, так он ее даром отдаст.

5-го мая. Скоро ли возьмусь я за перо, чтобы записать в эту книгу что-нибудь утешительное или отрадное? Видит Бог, как желалось бы занести на память в эту тетрадь какое-нибудь событие или распоряжение, достойное внимания и хотя немного ободряющее. Сухозанет — новый военный министр, на которого я возлагал некоторую надежду, приступил к делу весьма странным, чтобы не сказать глупым, образом. Во-первых, напечатал приказ следующего содержания:

«По Высочайшему приказу, в высокотожественный день — 17-го апреля объявленному, вступая в отправление обязанностей, всемилостивейше на меня возложенных, призвав в помощь Бога, потщусь употребить все свои силы для исполнения долга службы по присяге. Я надеюсь найти во всех и в каждом действие и рвение к пользам Его Императорского Величества. Ура... Боже, царя храни... Предписываю приказ сей прочесть во всех ротах, эскадронах и батареях, а также во всех управлениях, к Военному министерству принадлежащих».

Приказ этот произвел всеобщий смех. Восклицания в конце его действительно неприличны. Но это еще ничего — Сухозанет не обязан быть хорошим редактором, хотя мог бы посоветоваться с людьми грамотными и хотя бы и сам мог почувствовать, что ура и Боже, царя храни в приказе, ничего не выражающем, неприлично. Но все это можно ему простить, даже можно было бы объяснить в хорошую сторону, видя в этом неприличии и оригинальных выражениях залог будущих оригинальных действий. Но, к несчастью, вслед за этим приказом он выбрал, а государь утвердил в директора Канцелярии военного министра г. Брискорна, человека, имеющего самую скверную репутацию. Я его лично не знаю и никогда не видел, но этот господин принадлежит к числу немногих лиц, которых общественное мнение заклеяло, а покойный государь уничтожил. Брискорн служил прежде в Военном министерстве, отсюда его выжили, и он попал в товарищи государственного контролера и сенаторы. По участию в деле Политковского, разграбившего кассу Инвалидного комитета, его уволили со всех должностей, и с тех пор он был без места, проиграв все, что нажил, в карты. Он теперь от бедности и занимается писанием разных бумаг и сочинением прошений, за что получает плату. И прежде репутация Брискорна была сомнительна, а после дела Политковского, в бумагах которого нашли проект отчета в Контроль, писанный рукой Брискорна, которым Политковский за несколько лет до окончательного обнаружения его мошенничества оправдался перед Контролем относительно возбужденных Контролем сомнений, после этой истории, справедливо или нет, Брискорн в общественном мнении признается отъявленным мошенником. Понятно после этого, как все удивлены назначением его на должность директора Канцелярии военного министра. Говорят, Брискорн весьма умный и дельный человек — этих качеств в настоящее время недостаточно. Теперь все сознали, что мы погибли от злоупотреблений и воровства и что Военное министерство больше всех страдает от этого. Все ждут от нового министра решительных мер к водворению порядка — и что же видят? ... Первый человек, призванный им на важное место, — заклеянный мошенник. Вот какое знамя поднял Сухозанет, сам того, вероятно, не подо-

зревая, ибо он сам честный человек. Воображаю, как обрадуются и вострепнут все мошенники Военного ведомства. Положим даже, что все, что говорят о Брискорне, неправда, но все-таки общее мнение о нем самое скверное — это факт. Как же начать с того, чтобы так прямо идти против общественного мнения, которое одно в состоянии обуздать воровство и злоупотребления. Говорят, что Сухозанет решился на этот выбор под влиянием своего брата Ивана Онуфриевича, известного картежника и тоже известного негодяя, хотя и Андреевского кавалера¹³.

Я сам видел, как однажды в Петергофе, а именно в какой-то торжественный день при покойном государе, этот Иван Сухозанет, безногий, на костылях, в Андреевской ленте, выходя из дворца на площадку, наполненную народом, подошел к стоявшей тут коляске государя и сам подал руку и сделал «чекенц» с кучером государя. К чему такая публичная подлость? Что мог сделать для него кучер? Как бы то ни было, грустно видеть, что надежды не оправдываются. Всего удивительнее, как мог государь согласиться на назначение Брискорна, когда должен еще живо помнить историю Политковского и знать резолюцию покойного государя о том, что Брискорна уволить от всех должностей.

Бывший военный министр, князь Долгоруков, кажется, решительно получил назначение в Париж; он, встретив меня на этих днях на балу у великого князя, просил, чтобы я, в случае отъезда его за границу, согласился принять на себя звание попечителя над его сыном. Я, разумеется, согласился. Долгоруков производит весьма странное впечатление — он просто жалок: везде, где только может, он плачевным тоном рассказывает о том, как он старался делать и делал, что мог; что он сам сознает, что не все делалось всегда, как следует, но что он находился в таком положении, что не мог действовать всегда, как следовало, что ему прискорбно видеть, как общественное мнение против него вооружено, что он неоднократно просил у государя об увольнении, но что государь его не пускал и что он во всякое время не смел на этом настаивать, но что с прекращением военных действий он решительно просил государя освободить его от министерства и проч. ... Все это весьма справедливо, и действительно Долгорукова нельзя винить, что он дурно сделал дело, на которое никогда способен не был. Но в чем ему нет оправдания — это в том, что он решается ехать посланником в Париж... Верно, можно сказать, что к дипломатии в настоящее время он менее способен, чем к администрации.

Все эти дни не знаю, чему радовались, но только во всех дворцах были праздники. У императрицы были живые картины, у Константина Николаевича — фарфоровые куклы и бал, у великой княгини Елены Павловны — театр. Я был на последних двух. Вдовствующая императрица уехала за границу. Завтра государь едет в Варшаву и оттуда, говорят, в Берлин. Одним словом — пошла писать...

12-го мая. Сейчас я вернулся с музыкального вечера Михайловского дворца. Там была императрица и человек 15 приглашенных. Когда все разъехались, меня удержала великая княгиня чай пить и рассказала мне много любопытных вещей. Ей представляются вещи в весьма темном виде, и, кажется, она права. По словам ее, финансы наши в таком скверном виде, что скоро

должен последовать кризис. Постоянно возрастающий дефицит грозит банкротством, и не знают, какие принять меры, чтобы помочь беде. Тенгоборгский написал об этом какую-то секретную записку и предлагает меры. Не верю я в пользу этих мер и наперед уверен, что они хуже запутают наше положение. Теоретические познания Тенгоборгского неприменимы к стране, которую он не знает, да, кроме того, сомневаюсь в добросовестности этого господина, который, без сомнения, враг России, не имея с ней ничего общего, ибо сам он австрийский поляк, попавший в члены Государственного совета за то, что написал книгу о финансах Австрии; он — рьяный последователь системы свободной торговли и был главным виновником изменения тарифа в последние годы царствования покойного государя. Ему страх как хочется попасть в министры финансов, и ежели это состоится, то нашим фабрикам и вообще всей нашей промышленности придется плохо. Судя по словам великой княгини, все магнаты очень беспокоятся насчет финансов России, а государь, чтобы не беспокоиться, старается ничего не слушать. Между прочим, идет речь о восстановлении для сухопутной границы прежнего тарифа, который был убавлен по случаю войны, но против этого говорят, что совестно сейчас, после войны, поднимать тариф в ущерб торговле Пруссии, которая так хорошо вела себя относительно нас. Что можно возражать и что станешь делать с такими взглядами на вещи.

На университеты опять хотят начать гонения или, еще хуже: гонения на Министерство народного просвещения, хотят как-то сунуть Ростовцева, чтобы он дал тот тон и то направление, которыми так отличаются военно-учебные заведения. Как это будет и в какую форму облечат вмешательство Ростовцева в народном просвещении, я не могу понять из слов великой княгини, но, видимо, что-то нелепое затевается. Несмотря на все это, приготовления к коронации идут своим чередом, и денег на празднества и парады не жалеют. Тут же на вечере я видел Титова, который сегодня вступил в правление своей новой обязанности — главного наставника и воспитателя детей государя. Дай Бог ему большего в этом деле успеха, чем он имел в своей прежней дипломатической службе, бывши посланником в Константинополе, он своею склочностью и угодливостью воле и политике Нессельроде сильно уронил влияние наше на Востоке и, конечно, был одним из главных орудий в руках Провидения для нашего уничтожения. Я с ним мало знаком, но, судя по нескольким разговорам, не могу признать в нем никаких особенных способностей и никакого практического знания дела. Я старался объяснить ему, какие вредные последствия имеет недостаток воспитания великих князей и как эти недостатки обнаруживаются, когда эти князья вступают на служебное поприще. Он, соглашаясь со мной, утверждал, что он уже говорил, и что с ним согласились, о необходимости ближайшего ознакомления с Россией вне Петербурга, где бы могли видеть в настоящем свете жизнь народную и все ее нужды. Но каким образом устроить такое преподавание, об этом Титов не успел сообщить мне своего мнения. Постараюсь с ним увидеться, чтобы узнать, имеет ли он насчет этого какое-нибудь мнение. На днях я был в Кронштадте, и уже прибыло более 10-ти купеческих английских пароходов, и все винтовые, досадно смотреть на них.

1856 год

28-го мая. Я провел сегодня целый вечер у Александра Барятинского, и мы толковали о многом. Мне любопытно было узнать его покороче, потому что он еще с детства близок к государю и теперь в милости. Кроме того, на Кавказе он приобрел известность и славу храброго и предприимчивого генерала. Он оставался там весьма долго и не променял боевую жизнь на петербургскую, хотя мог в своем положении играть блестящую роль. Вообще он из всех высокопоставленных лиц возбуждает своим прошедшим к себе полное уважение. Ему приписывают какие-то нелепые понятия о необходимости восстановить у нас небывалую аристократию и вообще об умственных его способностях судят различно. Я нашел в Барятинском человека отлично честного и благородного, который способен отстаивать и говорить правду и не скрывать своих убеждений. Он весьма настойчиво и серьезно занимается Кавказом, и в суждениях его видна как бы уверенность, что он в непродолжительном времени будет там заместителем. О многих предметах он судит весьма здраво. Корень всего зла в России он видит в воспитании, и в особенности восстает против военно-учебных заведений. Он доказывает с убеждением, что безнравственность и все злоупотребления, которыми страдает наша армия, имеют своим источником военно-учебные заведения. Во время своего служения на Кавказе он постоянно имел дело с воспитанниками этих заведений и уверяет, что эти воспитанники поступают уже на службу со всеми началами всякой безнравственности и мерзости. Он не скрывает своих убеждений в этом отношении перед государем и делает это, быть может, слишком часто, а потому слова его потеряли всякую силу, ибо в нем предполагают на этот счет пункт сумасшествия. Разумеется, Ростовцев, который, вероятно, умнее и хитрее Барятинского, умеет обесмыслить влияние сего последнего. Не ограничиваясь одной военной частью, Барятинский весьма интересуется общими вопросами. О многом он писал, подавал свои мнения и соображения, о достоинствах которых судить не могу, потому что не читал. Хотя разговор наш не доходит до вопросов, по которым бы я мог заключить, какие у него понятия об аристократии, но, судя по нескольким словам его и намекам, видно действительно, что у него по этому предмету что-то сидит в голове. Общее впечатление, произведенное на меня Барятинским, следующее: отсутствие блестящих способностей заменяется у него личными качествами, он способен принять впечатления извне, а потому умный и дельный человек может через посредство его действовать. Он не в состоянии быть во главе какой-нибудь партии, ибо не выдержит борьбы с противниками. Решительного влияния на дела никогда иметь не будет. Цель его — быть заместителем на Кавказе — вероятно, будет достигнута, в этом ему помогут и враги его, потому что будут очень довольны удалению его из Петербурга, где он им не столько опасен, сколько неприятен, потому что чистый и честный человек. Я сегодня узнал, между прочим, что великий князь советовал государю принимать доклады министров по важнейшим делам, имеющим отношение к России, в Комитете министров, в присутствии всех министров и, следовательно, председательствуя лично в Комитете. Государь мысль эту не отверг окончательно, а сказал, что подумает. Не думаю, чтобы это предложение состоялось, оно будет тяжело для государя,

который не подготовлен к занятиям коллегиальным, да и министры не выдержат обязанности серьезно заняться делом. Бярятинский полагает, что это даже будет вредно, я с ним в этом не согласен. Конечно, по некоторого рода делам, где могут быть возбуждены вопросы личные, трудно оставить свидетелей при докладе, но в большей части дела весьма было бы полезно какое-нибудь ограждение России от словесных и бесконтрольных, с глазу на глаз, докладов министров.

29-го мая. Каюсь, чистосердечно надеюсь, что имел совершенно превратное мнение о Титове. Он сегодня представился мне в совершенно ином свете. Вот в чем дело. Несколько дней тому назад он был у меня вечером, но зашел только на минутку, и когда я просил его посидеть, он отозвался, что ему некогда, потому что он пишет весьма нужную записку. Я отпустил его с условием, чтобы он прочел мне эту записку, когда она будет кончена. Вследствие этого Титов¹⁴ позвал меня сегодня к князю П. А. Вяземскому, в присутствии которого, а также и И. В. Киреевского он прочитал нам свою записку. Это не что иное, как письмо на французском диалекте, адресованное государю, по поводу воспитания наследника. Когда Титова пригласили взять на себя воспитание царских детей, то он просил предварительно представить программу, по которой он полагает следовать в нравственном и умственном воспитании царских детей. Программу эту прочел государь и согласился в главных основаниях, не утвердив, впрочем, только один пункт, и вследствие того, без дальних рассуждений, объяснил Титову, что он назначается воспитателем детей. Но Титов не хотел оставаться на неопределенном положении и решился, прежде чем окончательно принять это место, объяснить мысль и воззрение свое так, чтобы не оставалось ни одного сомнительного пункта. С этой целью он и решился писать это письмо, на чтение которого я был призван. Во вступлении, как водится, отличными французскими фразами выражено, какая честь и какое счастье быть воспитателем наследника, но и какая при этом ответственность, что при этом не должно существовать никаких недоразумений, а потому следует оговорить их заранее. В 1-м пункте, спрашивает Титов, ему необходимо знать, кто будет контролировать его по воспитанию и цензуре кого он будет подлежать. Теперешний наставник наследника — генерал Зиновьев — прекрасный во всех отношениях человек, но он может иметь свои мысли, свой взгляд на вещи, его контроль Титов отвергает и откровенно выражает эту мысль, что ежели ему дастся доверие, то он не может признавать в делах воспитания никакого над собой начальства и никого равного, и что в этом отношении он может быть подчинен непосредственно одной только императрице, от нее одной принимать замечания и советы, а потому должен иметь к ней доступ, когда найдет нужным. Во-вторых, так как воспитание состоит не только в одном учении, но и в образовании вообще, и при этом распределение занятий имеет важное влияние на успех всего дела, то никто не должен и не вправе без согласия Титова отрывать мальчика от занятий, развлекая его смотрами, разводами и проч. ... Далее Титов, излагая подробно общие мысли своего воспитания и разделяя их на периоды, доходит до 4-го периода — 17-летнего возраста. С этого возраста Титов предлагает допустить наследника к слуша-

нию лекций в Московском университете — вот на этот пункт государь никак не соглашался, предлагая взамен университета посылать наследника на лекции в Военную академию, как будто это все равно. По этому поводу Титов входит в весьма длинное и прекрасное рассуждение об университетском образовании и доказывает всю пользу его для наследника престола, который вместе с учением приобретает более близкое познание людей и жизни. Прекрасно также развита мысль, почему в Московском университете следует учиться ему, а не в Петербургском. За сим на предложение лекций в Военной академии прекрасно доказан вред специального образования для наследника при отсутствии общего. Тут высказаны горькие истины, оправданные опытом и смело противоречащие и вкусам, и привычкам, и убеждениям государя. В заключении самым верноподданническим образом выражена та мысль, что или согласитесь на все то, что я предлагаю, или выгоните меня вон, но я не уступлю ничего. На всех нас одинаково подействовало чтение этого письма: и Вяземский, и Киреевский, и я были одинаково удивлены и высказанной храбростью, и содержанием, и изложением его. Письмо это накануне было отправлено императрице с просьбой вручить его государю по возвращении его на сих днях. Конечно, нельзя предположить, чтобы за такое письмо Титов мог бы рисковать своим благосостоянием, тем более что императрица совершенно с ним во всем согласна, но, не менее того, я от души поздравил и поблагодарил Титова, пожелав ему выйти победителем. Завтра ждут государя, следовательно, он, вероятно, послезавтра прочтет это письмо — любопытно будет узнать о последствиях.

Я завтра еду в Ревель проводить туда графиню Протасову и посмотреть свое портовое управление. Теперь не знаю, как согласить осторожно-грусливые, по удостоверению многих, действия Титова в качестве нашего посланника в Константинополе с подобным благородным поступком, которого нахожусь свидетелем. Постараюсь поближе сойтись с Титовым и приведу в известность эту непонятную для меня противоположность.

1-го июня. Сегодня я вернулся из Ревеля, где пробыл только несколько часов, осмотрел свое управление и на том же пароходе отправился назад. Вчера, когда мы вышли из Кронштадта, то встретили недалеко от Толбухина маяка государя, возвращающегося из-за границы. Он шел на «Александрии» вместе с императрицей, которая выехала ему навстречу. Подходя к Кронштадту, он поднял штандарт, вследствие чего пошла страшная пальба со всех фортов и кораблей, точно вернулись с какой-то победы.

На возвратном пути из Пруссии государь был в Риге, Митаве и Ревеле — показаться немцам. Я еще застал в Ревеле на улицах неуклюжие триумфальные ворота из еловых ветвей. Говорят, здесь немцы поскупились на сальные огарки, и иллюминация была *sehr schwach**, за что Суворов их порядочно выругал.

На обратном пути из Ревеля я возвращался с генерал-адъютантом Ливеном, который был вместе с государем в Берлине. Я, разумеется, стал его доп-

* очень слабая (нем.)

рашивать о происходившем. Он с азартом рассказывал мне, как государя принимали в Берлине, как в Германии на него смотрят как на спасителя и миротворца, как все за это благодарны, как сам прусский король пил за его здоровье, назвав его миротворцем и проч. и проч. ... Но так как пароход из Ревеля идет 16 часов до Кронштадта, то в это время много можно переговорить и, пожалуй, договориться и до правды — так случилось и со мной. Таким образом, я узнал, что в Берлине каждый день разводы и парады продолжались по-прежнему, что мы с немцами останемся — во что бы то ни стало — приятелями. Союз Англии, Франции и Австрии объясняет желанием Наполеона окончательно и навсегда помирить нас с Австрией, как будто он не верил, чтобы мы после всего того, что с нами сделала Австрия, решились разорвать с ней тесную дружбу. Это объяснение я уже не в первый раз слышал, его говорил мне также Барятинский, верно, кто-нибудь из сильных мира сего сочинил подобное оправдание нашему одурачению. Ливен уверяет, что вся Германия ужасно негодует на Австрию и, напротив, нам очень сочувствует, а по-моему, черт бы их подрал всех, как бы они ни признавались, эти проклятые немцы, долго еще мы из-за них и по милости их дружбы будем пропадать. Ливен сказывал мне, что государь возбудил в Варшаве весьма сильный и непритворный энтузиазм, но ненадолго. В обеих сказанных дворянству речах государь выразился довольно неудачно, или просто, может быть, сказал более, чем хотел сказать, и это произвело охлаждение, которое во многих выразилось желанием отправиться из Варшавы домой, не ожидая окончания празднеств. Объявленная амнистия также обманула надежды поляков, а в русских возбудила справедливое чувство негодования: почему же не сделано ничего для несчастных, которые 30 лет своей ссылкой и изгнанием более заслуживают внимания? Говорят, что о польских амнистиях¹⁵ была речь в Парижских конференциях, и что граф Орлов предупредил настойчивое приглашение обещанием. Завтра я отправлюсь в Москву. У Титова сегодня был, чтобы узнать о результате его письма, но не застал дома. Впрочем, от Вяземского узнал, что ничего еще неизвестно, и что Титов сам еще ничего не знает.

4-го июля. Я вернулся на днях из Москвы, или, лучше сказать, из деревни, потому что пробыл в Москве только несколько дней, впрочем, в деревне прожил не более 2-х недель, едва успел осмотреться и узнать, в чем состоит полученное мною, по воле батюшки, имение. Страшно мне было решиться принять его со всеми теми обязательствами, которые на нем лежат. Оно оценено в 72 тысячи рублей, и в нем моих 12 тысяч, а остальные 60 тысяч мне следует уплатить братьям, сестре и другим лицам. Не надеясь на свое знание и понимание хозяйства, я воспользовался готовностью опытного хозяина Николая Васильевича Ладыженского меня сопровождать для осмотра имения и для определения его ценности, с тем чтобы потом решиться принять его или отказаться. Итак, я отправился в Березичи с женою, старшими детьми и Ладыженским. Признаюсь, мне очень хотелось удержать имение: во-первых, потому что на то было воля батюшки, который любил это имение, и, во-вторых, потому что мне очень желательно иметь уголок, в котором можно было бы поселиться и в кото-

ром можно было бы найти занятие, ежели бы случилось по каким-нибудь непредвиденным обстоятельствам бросить службу.

Как ни уверен я в своей храбрости и гражданском мужестве, но все же приятно иметь за собой резервный уголок, куда бы можно ретироваться в случае, ежели придется плохо... Я был совершенно прав, не надеясь на свои познания хозяйственного дела. Когда приехал в деревню, то увидел, что не понимаю ни бельмеса в хозяйстве и не знаю, как взяться за дело. Спасибо Ладыженскому, который помог моему неведению. Основываясь на его отзывах, я решился оставить имение за собой, ибо оно стоит той суммы, в которую оценено батюшкой, и ежели, паче чаяния, дела мои запутаются так, что не буду знать, как их развязать, то всегда буду в состоянии продать имение и удовлетворить лежащие на нем обязательства. В имении находятся две фабрики: одна — писчей бумаги, а вторая — сахарный завод. Первую я решился закрыть, а вторую, по возможности, улучшить и развить. Все хозяйство Березичей основано на сахарном заводе, и при хорошем управлении дело могло бы пойти хорошо. Но в том главная беда, что заочно заниматься нельзя, а управляющий, хотя мужик честный, но не дальний и не распорядительный. К удивлению моему, я не нашел, чтобы народ более тяготился крепостным правом, чем прежде, и этот вопрос в нем не много подвинулся вперед. Они недовольны своим положением, но не более прежнего. Впрочем, отношения крестьян к помещикам не остались прежними. Перемена сознания незаконности права произошла не в крестьянах, а в помещиках, и, без сомнения, эта перемена инстинктивно сознается народом. Я уверен, что мужики мои чувствовали, что барин их не уверен в законности своих прав — это видели они и в неумении моем с ними говорить, и в чрезмерной щедрости моей и жены, и в непонимании дела. Одним словом, во всех моих поступках. Может быть, они объясняют все это моей глупостью, но, не менее того, они видят, что я в отцы им не гожусь, да и сам как-то совещусь быть главою такого семейства. Я начал, как начал Тентетников в «Мертвых душах» Гоголя, я сделал разные льготы: освободил от поборов кур, яиц и проч. ... Прибавил им земли из господской запашки, избавил их от зимних подвод в Москву и проч. и проч. ... Жена раздала много денег неимущим, также коров, лошадей, но толку из всего этого, я сам вижу, что будет мало. Впрочем, я убежден, что ежели бы мне возможно было часто бывать в деревне и жить там в году месяца 4, то и я бы научился делу, и им бы было лучше. Я намерен осенью непременно отпроситься в отпуск, это совершенно необходимо, но не знаю, как меня отпустят. К несчастью, урожай в нынешнем году, подававший с весны большие надежды, будет весьма посредственным, а яровые совершенно пропадут от сильной засухи. Свекла тоже по этой причине не обещает много хорошего. Жену и детей оставил я на даче в Москве, в Покровском, а сам приехал в Петербург с намерением присесть за дело, которого накопилось очень много. Мне бы хотелось теперь на досуге и наедине все покончить, чтобы не было препятствий к отпуску осенью. Во время моего отсутствия последовали следующие важные перемены. Князь В. А. Долгоруков, бывший военный министр, назначен шефом Корпуса жандармов на место графа Орлова, а граф Киселев, министр государственных имуществ, назначен посланником в Париж. О том, кто будет на место Ки-

селева, еще неизвестно. Оба эти назначения хороши. Я ездил представляться к великому князю в Стрельню и просидел у него с полчаса. Он расспрашивал о приготовлениях к коронации. Нового от него ничего не узнал. Из Стрельни я проехал в Ораниенбаум к великой княгине, которой должен был дать отчет в приискании ей подмосковной для проживания во время коронации и далее. Вечером, или, лучше сказать, ночью того же дня вернулся домой, не узнав ничего особенно примечательного.

8-го июля. Сегодня по случаю воскресенья я сижу дома и занимаюсь; вечером были у меня два брата Шиповы, они прибыли сюда на опекунские торги, которые уже кончились. На все откупа сильно надавили. Вся наддача простирается до 7 т. 500 рублей. По словам братьев Шиповых, которые близко следят за нашими торговыми и финансовыми оборотами, нынешний год вся внешняя торговля будет в нашу пользу и все дела весьма оживлены. На чем же основывает г. Тенгоборгский свои опасения за страшный кризис, нас ожидающий, о котором он говорит в своей записке, о которой говорили перед моим отъездом отсюда? Братья Шиповы вместе со всеми фабрикантами московскими сильно хлопочут об учреждении Общества поощрения торговли и производительности в Москве. Это дело уже в ходу, и, вероятно, Общество состоится. Они предполагают издавать журнал в смысле сократительной торговли. Не думаю, чтобы они достигли этим путем своей цели. Никто из правительственных лиц ни одного журнала на русском языке не читает и читать не хочет, а ежели и прочтет, то бросит книгу с улыбкою презрения. То ли дело, когда появится какая-нибудь статейка о России в иностранном журнале или газете, все с жаром читают и верят на слово. Поэтому я неоднократно советовал и продолжаю советовать этим господам непременно купить за границей какого-нибудь талантливой писаку, который бы валял в газетах статьи в их пользу. Все статьи эти будут приняты нашими магнатами за непреложную истину, и успех их домогательств несомненен.

Я помню, как в 1847 или 1848-м году, когда были в французском парламенте прения о свободной торговле, Тьера речь, в которой он говорил, между прочим, о России, остановила у нас разные меры, которые были уже почти окончательно решены и утверждены в Государственном совете. В нынешнем году опять хотят переделывать наш тариф, и к этому времени нашим фабрикантам необходимо купить какого-нибудь Michel Chevalier. Без этого все их усилия будут напрасны, с ними никто говорить не захочет, а статьи их читать не будут.

16-го июля. Совершенный застой всяких новостей, город пуст, и я почти никого не вижу, пользуюсь своим одиночеством, чтобы работать и закончить многие начатые дела. По временам езжу только в Ораниенбаум, несколько приосвежиться. Вчера провел там целый день. День въезда и коронации опять, говорят, изменен, ждут великих и богатых милостей, но ничего достоверного еще неизвестно.

Сюда приезжал Непир¹⁶, и ему оказывают внимание, которого ни он, ни нация, к которой он принадлежит, вовсе не заслуживают. Англичане под на-

чальством Немира вели себя до такой степени подло во время войны, что во всяком другом государстве негодование, без сомнения, обнаружилось бы. Конечно, неприлично бросать грязь в отдельного человека, но, с другой стороны, также, может быть, и более неприлично оказывать внимание человеку, под начальством которого происходили грабежи и разбои. Всего непонятней то, что Немиру велено показать все по морской части, он был здесь в Адмиралтействе, ходил везде и вчера отправился в Кронштадт, где проживет три дня, чтобы иметь время осмотреть все подробно. Следовательно, для вчерашних и даже, может быть, завтрашних врагов наших нет тайн. Надо быть слишком уверенным в своей силе и крепости защит Кронштадта, чтобы действовать с такой откровенностью. Ежели эта уверенность существует, то зачем же заключать мир? Настоящая причина всем неприличным поступкам — это, все-таки, отсутствие собственного достоинства, ребяческая хвастливость и бессознательное уважение ко всякому иностранцу. Кажется, немало учили нас всякие французы и англичане и выражали печатно то впечатление, которое производит на них наша угодливость, но все это не впрок.

10-го августа. Все и все заняты приготовлениями к коронации. Со всех сторон съехалось множество иностранцев и всяких немецких принцев. Новости и новые назначения также, говорят, отложены все до коронации, так что застой во всем продолжается.

Впрочем, назначение Бярятинского на Кавказ наместником вместо Муравьева последовало сверх чаяния, независимо от ожидаемых перемен. Все способствовало Бярятинскому для достижения его цели. Во-первых, гнусный нрав Муравьева, который сумел в короткое время заставить себя возненавидеть; по моему мнению, это признак ограниченности способностей, ибо я убежден, что хотя бы и действительно велики были злоупотребления, которые он решился искоренить, но все это с умом можно было сделать, не вооруживши против себя и честных и нечестных. Во-вторых, Бярятинскому сильно содействовали враги Муравьева, во главе которых князь Воронцов и враги самого Бярятинского, которые очень желали его отсюда спровадить, ибо, конечно, из всех близких к государю людей Бярятинский самый порядочный и самый честный. Наконец, сам Бярятинский только спал и видел, чтобы достичь этого назначения и, конечно, не упускал ни одного случая без пользы. Я слишком мало знаю Бярятинского и слишком мало знаком с Кавказским краем, чтобы иметь положительное мнение о том, полезен ли будет Бярятинский на этом месте или нет. Дай Бог...

В конце июля был смотр всему флоту. В нем, кроме двух дивизий кораблей, участвовало 75 канонерских винтовых лодок. Вид этой силы получал особое значение при мысли, что все это создано в 2 года, почти без всяких приготовлений, или, по крайней мере, без предварительного устройства больших механических заведений. 14 из 20-ти пушечных корветов, также винтовых, не успели к смотру, и они только теперь вооружаются. Впрочем, надо признаться, что весь этот успех в морском деле еще до сих пор есть только большей частью видимый, т. е. винтовые лодки действительно есть, но команды и главные офицеры на них с морским

делом мало знакомы. Пароходный флот уже есть, а топлива для этого флота нет, да и никаких приспособлений для хранения угля и запаса его нет. Канонерские лодки есть, а куда их поставить на зиму — еще неизвестно, и ничего к этому не приготовлено. Конечно, всего нельзя сделать разом, но нужно по крайней мере, чтобы с введением какого-нибудь нового совершенствования приравнивали бы и все части, необходимые к потребностям сего нововведения. Много и много предстоит еще труда, чтобы создать флот, который бы мог в случае надобности принести пользу, надо почти пересоздать целое поколение моряков, потому что большинство здешних морских офицеров, несмотря на все усилия и все старания изменить направление, остается при таких мыслях и при таких убеждениях, что невозможно от них ожидать никакой жизни.

Я в особенности убедился в этом во время моей недавней поездки на казенном пароходе на остров Эзель¹⁷; я ездил туда по весьма плачевному случаю. Князь Сергей Мещерский, женатый на Апраксиной, лечился грязями в Арнсберге и вдруг скоростижно умер на улице, в то время как чувствовал себя совершенно хорошо, собирался ехать кататься. Бедная жена, его обожавшая, оставалась на этом острове одна, без всяких средств вывезти тело в Москву, где намерена была его похоронить. Я выпросил у великого князя по этому случаю пароход, на котором я вместе с Софьей Петровной Апраксиной отправился на остров Эзель. Путешествие наше с самого начала и до конца сопровождаемо было всякими неблагоприятными обстоятельствами: и постоянно противный ветер, и, наконец, на обратном пути, когда мы уже возвращались с телом, сломалась на пароходе машина и мы должны были бросить якорь в довольно свежий ветер и в таком месте, где якорная стоянка не была безопасна. Таким образом, мы простояли в море почти сутки и к утру дали знать проходившему недалеко английскому купеческому пароходу, чтобы он подошел и взял нас, что англичанин, конечно, за большие деньги и исполнил. В этом несчастном путешествии я убедился, что не только материальная часть нашего флота находится в несчастном состоянии, но, главное, в лицах начальствующих нет ни малейшей любви к делу, нет привычки к морю, нет желания усовершенствоваться. Одним словом, мертвечина, в которую все у нас облеклось, еще долго не уступит место живому образованию.

На днях я был с докладом у великого князя в Кронштадте в то время, когда представлялись ему прибывшие на коронацию французские генералы и офицеры. Все они только что вернулись из Крыма и, следовательно, еще не так давно дрались с нашими героями. Меня восхитил великий князь своей находчивостью и умением каждому сказать слово. Французы эти все более или менее порядочные люди, держат себя скромно и оказывают нам большое сочувствие. Великий князь пригласил их к обеду и в то же время позвал, чтобы познакомиться с ними, наших черноморских героев, бывших налицо в Кронштадте, как то: Новосильского, Перелешина, Керна. Это восхитило французов, и они говорили мне, когда я возвращался с ними на пароходе в Петербург, что этот поступок великого князя они понимают и глубоко им тронуты, видя в нем знаки уважения великого князя к ним, глубоко сочувствующим нашим храбрецам. За обедом великий князь поразил французов-генералов своими блестящими способностями, он забросал их вопросами и так озадачил дельностью и быстротою своих замечаний, что они

пришли в совершенное изумление. Действительно, я сам был приятно поражен тем впечатлением, которое производил живой разговор великого князя. Теперь все это уехало в Москву, не знаю, когда-то я соберусь. Великая княгиня Елена Павловна звала меня ехать с собою, но я отказался, потому что дела не позволяют мне отлучиться. А как бы хотелось повидаться со своими, ужасно становится скучно и грустно, и ежели с моей стороны какая-нибудь жертва служит, так эта жертва заключается единственно в перенесении этой скуки и в пренебрежении тех пустых дряг, от которых я также начинаю страдать, имея непосредственным начальником немца¹⁸, уже по природе своей мелочного, но к тому же еще почти карлика с душонкой микроскопической.

13-го сентября. Пишу эти строки в деревне, куда приехал вчера. Из Петербурга я выехал 21-го августа и пробыл все это время в Москве, среди всех торжеств и увеселений коронации. Торжественного въезда государя в Москву я не видел, ибо был в это время в Петербурге. Очевидцы рассказывали мне, что зрелище было великолепное, что весьма вероятно, ибо погода благоприятствовала торжеству, на приготовление которого не жалели денег. Москву нельзя узнать, народонаселение заметно увеличилось, необыкновенное движение народа по улицам, непрерывная езда экипажей, в особенности посланнических карет с необыкновенною упряжью, стечение перед дворцами и домами, занимаемыми разными принцами и принцессами. Все это дает чувствовать, что в городе происходит что-нибудь необыкновенное. Между днем въезда и 26-м августа, т. е. днем коронации, погода стояла прескверная — дождь, ветер и холод. Но вдруг 25-го числа сделалось тепло, солнце осветило и пригрело всю Москву и она — наша матушка — так и засияла. Я достал себе и Саше¹⁹ билеты в одну из галерей, устроенных близ соборов в Кремле, чтобы оттуда смотреть коронацию. На площадку между соборами народа не пускали, но расставили войско, что, по моему мнению, много повредило великолепию зрелища, ибо давало торжеству какой-то казенный вид. Напротив того, за Иваном Великим и Чудовым монастырем была сплошная масса народа с поразительным спокойствием, хотя в страшной тесноте и духоте, ожидавшая появления государя.

Шествие государя и императрицы в собор под балдахинами хотя было весьма величественно, но продолжалось недолго, и так как в этом месте, где они проходили, не было народа и стояло одно войско, то особенного восторга не было. При этом также неприятно поразила меня музыка, которая казалась как-то совсем некстати в духовной процессии, совершаемой при звоне всех колоколов. К тому же и сама музыка драла всем уши, потому что в то же самое время играли «Боже, царя храни» и какой-то туш, так что из всего этого выходила какая-то чепуха и страшные диссонансы. В соборе, разумеется, во время коронации я не был, но, судя по рассказам, зрелище было величественное и до слез тронуло всех присутствующих. Сам государь и в особенности императрица были в полном умилении во все время священнодействия. Совершение обряда было несколько смущено тем, что корона на голове императрицы Марии Александровны плохо держалась, вероятно, по неискусству дам, которые обязаны были укрепить ее. Корона двигалась, и даже, подходя к образам, императрица должна

была ее на минуту снять. Это обстоятельство, говорят, неприятно поразило всех, имеющих предрассудки и дающих значение мелочным и случайным явлениям. Минута выхода государя из Успенского собора в короне, мантии, с регалиями в руках и под балдахином была действительно весьма величественна. Государь шел весьма медленно, глаза его казались полными слез, какая-то грусть и тайное душевное смущение изображались на всем лице его. Государыня шла посередине балдахина, и я не мог хорошо ее видеть. Но появление государя на всех, кажется, произвело одно впечатление — у всех заметил я на глазах слезы. Он возбудил во всех какое-то чувство жалости и сердечной печали, точно как будто он изнемогал под тяжестью венца своего, точно как будто он был невинною жертвой какой-то непреодолимой судьбы. Так бы хотелось броситься к нему на площадь и пособить ему чем-нибудь. Это впечатление государь произвел на всех — и на самый простой народ. Все мужики, с которыми я ни говорил, все единогласно повторяли мне одни слова, исполненные любви к нему и вместе глубокого сожаления: «Что это, как он грустен... Что это, как он скучен, похудел, знать, забот много, не таков он был при родителе...». Вот слова, которые повторяли почти все в народе. Велика сила внешних обрядов, я это всегда признавал и ощущал и в этот раз еще больше почувствовал всю мудрость нашей православной веры, которая так премудро и вместе с тем прекрасно облекает во внешние обряды знамение духовной истины и учения. Чистосердечно признаюсь, что в моих глазах, уже испорченных рассудочностью, совершенный над государем обряд поставил его еще выше прежнего, объяснить этого чувства я не могу, но чувствую. Что же должен чувствовать народ? Я уверен, что с глубоким чувством и молитвою произносил государь слова прекрасной молитвы, читаемой им во время коронации. Услышит ли Господь и совершит ли чудо исцеления слепого от рождения, т. е. откроет ли он ему очи для уразумения правого пути, с которого сбился не он сам? «Кто согрешил, он или родители его?» — вопрошали Иисуса ученики его, когда он исцелял слепого. «Ни он, ни родители его, — отвечал Христос, — но да явятся на нем дела Божия». Дай Бог, чтобы сказание евангельское могло осуществиться и в наше время. Вот мысли, которыми я был преисполнен, выходя из Кремля, где народ чинно, без всяких беспорядков и без надзора полицейских толпился и приветствовал государя восторженными криками.

Вечером я отправился пешком на иллюминацию в Кремль. Вид освещенного, великолепного Кремля восхитителен. Народу была бездна, и нигде я не видел ни малейшего беспорядка. Кое-где подгулявшие парни кричат «ура», толпа смеется, острит по-своему, и все это с непритворным добродушием и покорностью, и этот-то народ заподозрен графом Закревским в вольнодумстве, и против него он для укрощения предлагает разные предупредительные средства. Народ не только любит государя — он имеет к нему и ко всей царской фамилии просто какую-то платоническую страсть. Я пробовал на иллюминации спрашивать нескольких мужиков: «А что, видел ты царя?». Мгновенно лицо мужика просияло. Добродушная, исполненная любви улыбка явилась на уста, а взгляд самого страстного любовника при рассказе о свидании с любовницей не мог бы быть выразительнее и живее, как взгляд рассказчика о том, как царь поклонился,

как куда пошел или поехал. Это чувство народа к государю заключает в себе весьма много поэзии, оно совершенно бескорыстно, не требует взаимности, ибо предполагает его, ни на чем не основываясь. Это не есть какая-нибудь теоретическая или отвлеченная преданность или покорность власти — нет, это просто бессознательное влечение, которому нет пределов, нет границ. Мы привыкли слышать и в особенности читать в казенных статьях о любви к царю и прочему тому подобному и потому успели опошлить этот предмет так, что действительно утратили всякую веру в него. Но когда услышим из живого источника, из уст народа, объяснение в любви, то оно действует поразительно, и как-то становится совестно, что не чувствуешь этой любви сам.

Еще поразило меня то явление, что в Москве народ имеет совершенно не тот вид и не тот характер, как в Петербурге. Это, вероятно, я потому заметил, что давно не был в России и слишком привык к благочинию петербургской публики, ибо в Петербурге нет народа, там везде публика. Как часто случилось мне замечать на публичных гуляниях в Петербурге, как простой народ чувствует неловкость своего положения и не смеет почти тронуться с места... Стоят, обыкновенно, несколько мужиков вместе, запахнутся в зипуны, оглядываются по сторонам и не знают, как им быть, можно ли есть, надо ли стоять, можно ли пройти или оставаться на одном месте — точно какие-то запуганные. В Москве совсем иначе, народ ходит себе вольно, садится прямо на землю, когда устал, тут же ляжет, ест, пьет, горланит — одним словом, чувствует себя дома. Одним словом, народ бессознательно преисполнен в Петербурге тем же чувством, которым полон был один мой знакомый провинциал, приехавший по делам в Петербург. Этот господин прогуливался по Невскому проспекту со своим племянником. Остановясь перед магазином, племянник говорит дядюшке: «Посмотрите, дядюшка, какая картина...». Тот берет его судорожно за руку и торопливо говорит: «*Mon cher, perspective de Nevsky, parles français, parles français!*»*. На другой день коронации, утром, было поздравление от духовенства и дипломатического корпуса, а вечером был куртаг²⁰ в Грановитой палате. Я был на этом куртаге и восхищался великолепием зала Кремлевского дворца при вечернем освещении. Тут ничего особенно замечательного не происходило. По обыкновению ходили польскую²¹, и царская фамилия ходила преимущественно с посланниками и принцами по старшинству их. С французским посланником — графом Морни²² — в особенности любезны, все наперерыв перед ним кокетничают. Вчера ему дали Андрея, а Эстергази, австрийскому посланнику, уже имеющему <орден Св.> Андрея <Первозванного>, дали бриллианты²³, но вообще с ним в очень холодных отношениях. Князю де Линю — бельгийскому посланнику — дали Александровскую ленту, но он ее не принял и отослал назад, благодаря за внимание, но извиняясь, что не может принять, ибо имеет почти все первые степени орденов других государств. Без всякого сомнения, несчастного бельгийца обидели для того, чтобы дать больше значения награде Морни. Английскому посланнику ничего не дали, потому что англичане не имеют права принимать и носить чужие

* Дорогой мой, на Невском проспекте говорите по-французски, говорите по-французски!

ордена, но с ним обращаются довольно сухо, хотя сам лорд Гренвилль и в особенности жена его очень любезны и дают непрерывные балы и обеды. Не знаю, поведет ли к чему-нибудь любезничание с французским посланником, личность самого Морни замечательна тем, что он брат самого Наполеона, участвовал с ним во всех его проделках и составил себе огромное состояние игрой на бирже и участием в разных предприятиях. Он хотя очень вежлив, но не поддается, кажется, на все ласки и авансы. Во дворце я говорил со знакомыми мне по Кронштадту французскими генералами. Они, по-видимому, поражены роскошью и великолепием празднеств, но мне совестно было смотреть на них, ибо невольно приходило на память, что день празднеств был канун падения Севастополя, о котором как будто бы и помину нет. Я был на другой день, т. е. 28-го числа, у великого князя и довольно долго беседовал с ним о разных предметах. Он утвердил предположения мои о заготовлении для флота запасов угля и антрацита. Меры, предложенные мною, основывались на предположении, что мир долго продолжаться не может и что поэтому неотлагательно, несмотря ни на какие издержки, обеспечить себя топливом. Я предлагал покупать потребный и годовой запас в Англии, а трехгодовой запас донского антрацита иметь внутри России в разных пунктах по пути к портам. На это потребно ежегодно около 1-го миллиона рублей серебром, и эту сумму великий князь разрешил вписать в смету.

Великий князь объявил мне, что едет за границу. На мой вопрос — зачем, он отвечал, что имеет три претекста²⁴: 1) навестить вдовствующую императрицу, которая будет зимовать в Италии и отправляется туда на днях; 2) осмотреть эскадру нашу, которая отправляется в Средиземное море, и с ней посетить некоторые порты Средиземного моря; 3) осмотреть в Тулоне строящиеся для нас фрегаты. В Тулоне великий князь надеется получить приглашение ехать в Париж, куда уже и получил от государя разрешение ехать. Из Парижа к весне воротится в Петербург и потом отправится в Николаев, а оттуда во все порты Черного и Азовского моря, потом через Кавказ, вместе с Бярятинским, в Баку, а там на пароходе в Астрахань и вверх по Волге до Нижнего к ярмарке. Таким образом, все пропутешествуют почти год. Во всем этом плане, ежели нет какого-нибудь политического соображения или намерения в поездке в Париж, я не вижу никакого дельного смысла, главным образом потому, что путешествия эти совершенно и во всех отношениях несвоевременны: во-первых, в нынешнем году, в течение зимы, без сомнения, многое должно измениться как в личном составе, так и в направлении действий правительства. Для этого пребывание великого князя в Петербурге могло быть полезно, и, во всяком случае, непонятно, как возможно самому не иметь столько любопытства и интереса к делам внутреннего управления, чтобы не желать принять в них деятельного участия. Во-первых, касательно собственно Морского министерства, отъезд великого князя совершенно несвоевремен и будет иметь дурные последствия. Прежний порядок, по которому шли дела в министерстве, отставлен: машина министерская, так сказать, разобрана, а новая еще не установлена. Врангель не в состоянии ни создать ничего дельного, ни последовательно и решительно идти к определенной цели, и, следовательно, дела пойдут дурно, я в этом убежден и готовлюсь к

разным неприятностям. Наконец, неужели не чувствуют они всю неблагоприятность этой эмиграции за границу немедленно после постыдного мира? Едут за границу: вдовствующая императрица, великий князь с великой княгиней, Мария Николаевна, Елена Павловна, вероятно, Екатерина Михайловна. Одним словом, почти все. Чего все эти путешествия будут стоить... Великий князь, кажется, внутренне чувствует, что не следовало бы ему ехать, поэтому старался объяснить мне разные побудительные мотивы, как например: он говорит, что убежден, что администрация не должна состоять в том, чтобы работать в Кабинете, но что необходимо самому на местах собирать данные, изучать разные вопросы и проч. и проч. ... Но в то же время он не скрыл от меня, что имел с детства страсть к путешествиям и что с женитьбой у него эта страсть пропала, а теперь опять явилась. Из всего этого я вывожу, что нет дельной цели и достаточно уважительной причины оставлять великому князю Россию в теперешнее время и что это делается, во-первых, из ребячества, во-вторых, из желания отделаться, хотя бы на короткое время, от своей благоверной, которая, по-видимому, все еще душит, но хороша, как ясный день. На всех балах и собраниях она решительно изумляет всех своей красотой, она еще похорошела в это последнее время.

Московское Общество сельского хозяйства просит великого князя взять на себя звание почетного президента. Я спросил великого князя, примет ли он это звание. Он мне отвечал, что ему весьма не хотелось бы ввязываться в дело, которого не понимает. Я уговаривал его согласиться на предложение Общества, и вот с какой целью: он мог бы, получив, разумеется, предварительное разрешение государя, поручить Обществу заняться вопросами касательно освобождения крестьян. Общество могло бы составить для этого предмета особое отделение, которое бы собирало все нужные сведения и приготовило бы материалы, которыми правительство впоследствии могло бы воспользоваться. Члены Общества могли бы рассматривать разные проекты об эмансипации, писать на них свои замечания, возбудить умеренную и полезную полемику в своем журнале. Я убежден, что это было бы весьма полезно. Я старался доказать великому князю, что действия частных лиц при разработке этого вопроса могут быть несравненно плодотворней действий чиновников, и вместе с этим поручение, данное великим князем как президентом Общества, получило бы гораздо менее гласности и не имело бы то значение, которое имеет недоговоренное слово государя. Поэтому я уговаривал великого князя принять звание, ему предлагаемое, но он не дал мне решительного ответа, а впоследствии я узнал, что он отказался. При этом великий князь сказал мне, что государь намерен после коронации созвать у себя комитет из магнатов и им предложить вопрос об освобождении крестьян. Я положительно объявил великому князю, что из этого выйдет вздор и чепуха. Грустно мне было видеть, как мало знаком великий князь и как мало интересуют его дела общественные. В нем нет даже желания с ними ознакомиться. Я забыл сказать несколько слов о вышедшем в день коронации милостивом манифесте. Он вообще очень хорош, а в частности есть значительные милости. Много отменяется такого, что страшно вспомнить, что оно существовало. Еще долго может правительство делать добро одной отменой неистовств, обращенных в закон при прежнем царствовании. Милости, дарованные манифестом,

обличают более человеческое направление. Кантонисты²⁵ уничтожены; евреев уже больше не уничтожают; поляков и уроженцев Западных губерний уже больше служить не заставляют; за границу ездить позволяют; рекрут для потехи обещают не брать; наконец, прощены декабристы. Этот манифест многих осчастливит и, конечно, всех порадует. Записка о необходимости уничтожения кантонистов составлена в моем департаменте чиновником особых поручений князем Львовым, в ней представлены такие факты, что волосы становятся дыбом при чтении. Труд Львова послужит основанием предписанных в манифесте изменений, которые, впрочем, еще не окончательны. По случаю коронации роздано, как водится, пропась наград, причем, как водится, есть много довольных и недовольных.

С предводителями дворянства государь и императрица были очень любезны, как при представлении, так и на данном им обеде. Дворяне в восхищении и полагают, что есть доказательства консервативного направления правительства. Слова, сказанные государем предводителям дворянства, записаны и напечатаны. В них нет ничего замечательного, одни повторения общих фраз благодарности и уверенности в верноподданничестве. Некоторые предводители дворянства до того напуганы слухами о желании государя освободить крестьян, что не довольствовались впечатлением от слов государя, в которых об этом вопросе не упомянуто, но еще просили министра внутренних дел Ланского, чтобы он еще циркуляром подтвердил, что государь никаких других слов не произносил.

30-го числа во вновь отделанном после пожара Московском театре был спектакль-гала. Роскошь, с которой отделали этот театр, превосходит всякое описание, громадная зала театра вряд ли имеет себе подобную в мире. На другой день был бал во дворце на 2000 человек с восхитительным ужином. Праздник этот был поистине царский, денег не жалеют, и желание пустить иностранцам пыль в глаза стоит огромных издержек. За ужином я невольно вспомнил те роскошные ужины, которыми кормил Политковский и при которых все гости невольно себя спрашивали, откуда все это богатство берется. Зная хорошо, в каком жалком положении находятся наши финансы, все удовольствия праздника были отравлены для меня грустным чувством. Одна из причин, заставившая нас подписать почти безусловно постыдный мир, состояла в том, что будто бы финансы наши истощены до того, что мы не в силах более воевать. А между тем одна коронация стоит почти столько же, как война, а при этом военные издержки в нынешнем году весьма мало сократились. По крайней мере по Морскому ведомству все суммы, ассигнованные по военной смете, будут израсходованы, несмотря на мир, и еще с лишком. А когда сообразим, что будут стоить заграничные путешествия почти всей царской фамилии и готовящаяся свадьба Михаила Николаевича, то придем к заключению, что мы или имеем несметные и никому не известные богатства, или будем банкротами. К несчастью, в государе решительно заметна страсть к роскоши и праздникам.

На других празднествах коронации я не был, но, по слухам, они все удались и все были одинаково великолепны, кроме одного народного праздника, который решительно не удался по случаю ужасной погоды. Дождь лил ливнем, и народ бросился и мгновенно уничтожил приготовленные для него кушанья прежде при-

езда государя. Объявлено было, чтобы народ приступил к столам по сигналу в то время, когда поднят будет на царском павильоне флаг. Кто-то из распорядителей из неуместного усердия хотел попробовать, не разбухла ли от дождя веревка на флаге и может ли он подняться, дернул ее, и народ, приняв этот опыт за сигнал, бросился к столам, и мигом ничего не стало. Все приготовления к народному празднику были великолепны, царский павильон отличался изяществом архитектуры, галереи для зрителей, открытый цирк, театры, качели, игры — все это было устроено весьма красиво. Несмотря на проливной дождь, народу собралось бездна. Полиция вовсе не распоряжалась, и, не менее того, везде был совершенный порядок. Царь приехал верхом, проехал несколько шагов между народом и вернулся в павильон, где пробыл не более четверти часа. В это время благополучно поднялся воздушный шар, в цирке попрыгала какая-то мамзель, и потом вся царская фамилия отправилась завтракать в Петровский дворец, и все увеселения прекратились, так что весь праздник продолжался не более получаса. В разных местах были устроены фонтаны с вином, около них народ толпился и, несмотря на ливень, гулял, но все это продолжалось недолго. Я нарочно ходил в толпу, чтобы послушать, что говорит народ, все были веселы, острили над дождем, благодарили царя за праздник, и я не слышал ни единого укора или жалобы, и против этого-то народа граф Закревский предлагал приготовить багарей, ибо, по словам его, между народом распространился слух, что царь объявит свободу. Как бы в ответ на это опасение Закревского один мужичок навеселе объявил мне, что опоздал к угощению, потому что ходил на почту посылать барину оброк. «Всякое дело надо наперед справить, — говорил он, — а потом гуляй, душа, к царю на угощение». Замечательно, что всякий мужик уносит с собой что-нибудь с праздника на память — кто кусок коленкора, которым были накрыты столы, кто сломанную доску от стола, кто разбитую шайку, кто тумбочку, кто, наконец, ветку от елок, которыми были украшены фонтаны. В публике сейчас же распространилась молва, что будто бы флаг нарочно подняли прежде приезда государя, для того чтобы народ уничтожил все приготовленное, ибо все припасы были гнилые и распорядители боялись, чтобы царь этого не заметил. Я уверен, что это неправда, у нашей публики так испорчено воображение, что она во всем и везде видит злоупотребления и обман. Испорченное воображение есть следствие дурного воспитания и дурных примеров. Надо признаться, что действительно публика не могла получить хорошего воспитания, а в худых примерах тоже недостатка не было.

9-го числа, в день рождения великого князя, я ездил к нему с поздравлением. В этот день явились к нему некоторые московские купцы и фабриканты под предлогом, будто бы благодаря его за учрежденное по настоянию его Общества мореходства²⁶ на Черном море, а в сущности, купцы и фабриканты хотели заинтересовать великого князя в затеянном ими, но не утвержденном правительством Обществе развития торговли и промышленности. Это Общество, ежели состоится, будет иметь главной целью противодействие стремлению петербургских поклонников свободной торговли. Устав этого Общества написан довольно умно, но не думаю, чтобы министр финансов согласился на его утверждение. Что же касается до Общества торго-

вого мореходства на Черном море, то это дело, действительно весьма важное, может получить большое развитие и значение в политическом отношении. Мысль образования на Черном море торгового парового флота, который мог бы в случае надобности перевозить войска и оружие, принадлежит великому князю. Еще зимой возбудил он этот вопрос, доказывал всю важность его при невозможности нам иметь военный флот в Черном море. Составленная по этому предмету записка для Комитета министров была в нескольких экземплярах напечатана и разослана членам, в ней не скрыта была тайная цель сего торгового флота и указано было на невозможность оставаться в том положении, в какое поставил нас трактат, подписанный в Париже. Члены Комитета министров, которым в первый раз, может быть, довелось дать мнение и обсудить дела государственной важности, пришли в ужас при прочтении этой записки, стали делать разные возражения в роде следующих: что это противно трактатам, что слишком еще молоды, чтобы заводить подобные Общества, что у нас частных свободных капиталов нет, а что те, которые лежат в банках, не следовало бы трогать, в противном случае банки принуждены будут выдавать деньги, а капиталы банков забраны правительством, что казна пособий Обществам делать не может потому, что не имеет денег. А главное, что все это есть величайшая тайна, а поэтому напрасно напечатана записка, которую члены Общества обязались лично возвратить великому князю, ибо опасаются и дома держать такой секрет. Одним словом, проект великого князя встретил страшную оппозицию, что, конечно, его очень раздосадовало, но он очень решил отстоять свое предложение и возбудился некоторыми намерениями. Комитет министров, наконец, утвердил мысль, а впоследствии и устав, который ныне утвержден государем и обнародован. Акции разбираются наперерыв, ибо обещанные правительством пособия действительно огромны. Я от души желаю, чтобы это дело пошло хорошо, ибо последствия его весьма важны, теперь все будет зависеть от деятельности и способности распорядителей, и я, признаюсь, не совсем в них уверен. Весьма вероятно, англичане найдут предлог протестовать против этого Общества и будут делать по этому случаю разные пакости.

10-го числа я выехал в деревню, куда прибыл 12-го по ужасной дороге и на обывательских лошадях, потому что все лошади с о в с е х с т а н ц и й в с е х губерний от Москвы до Варшавы взяты на шоссе под проезд вдовствующей императрицы, и вот уже две недели, как в ожидании этого проезда путешествующие по всем трактам всех средних губерний России должны ездить шагом, а несчастные крестьяне оторваны от работы в рабочую пору во время посева. Как оценить этот убыток частных лиц, и что должен стоить один проезд от Москвы до Варшавы? Деревенская жизнь меня прельщает. Погода чудная. Как бы хотелось прожить здесь хотя бы год безвыездно. Не знаю, удастся ли когда-нибудь это сделать.

9-го октября. Я воротился в Петербург в последних числах сентября, проездом в Москве пробыл недолго, празднества уже все прекратились, кроме царя

и царицы все почти уже разъехались или разъезжаются. Предположенная поездка царя и царицы на богомолье в Киев в исполнение данного обета не состоялась по случаю беременности царицы и непроезжих дорог. Говорят, императрица очень грустит о том, что не могла исполнить обета. Эпизод падения с ее головы короны во время коронации, о котором я, кажется, уже писал, говорят, произвел на нее впечатление.

Мне на днях рассказывал подробно герцог Мекленбургский, который был ассистентом при императрице во время коронавания, как все это происходило. Корона не только покачнулась на голове, а просто совершенно упала, или, лучше сказать, потихоньку скатилась, так что минуту не знали, куда она делась. Мекленбургский, в качестве ассистента, начал ее искать и нашел на полу между складками мантии; он тихонько ее приподнял и передал в руки одной из статс-дам, а именно Рибопьер, которая долго держала корону в своих руках, не зная, как ее приколоть, и долго не решалась на это, несмотря на понукания Мекленбургского. Наконец решились послать за парикмахером императрицы, которого по ошибке не пустили в церковь, он прислал длинных золотых булавок, и тогда с помощью их опять надели на царицу корону и закрепили ее. Не менее того, я полагаю, что этот неприятный эпизод не мог не произвести самого неприятного впечатления. Сохрани Бог, ежели ее не станет. В Петербурге я нашел приготовления по всем улицам для иллюминации, имевшей быть в течение трех дней по случаю торжественного въезда государя. Въезд этот совершился 2-го числа при великолепной погоде, и хотя церемониал был далеко не так пышен, как при въезде в Москву, но, не менее того, вид был очень хорош. На другой день въезд в Петербург был бал в Дворянском собрании и засим, к всеобщему, кажется, удовольствию, все праздники на некоторое, по крайней мере, время прекратились. Царь и царица живут в Царском Селе и проживут там, говорят, довольно долго. При всех дворах идут приготовления к путешествиям.

Мария Николаевна беременна и едет со Строгановым, об этой свадьбе хотя официально ничего не объявлено, но уже не делают из этого секрет, в особенности с тех пор, как беременность Марии Николаевны сделалась известной, а сделалась она особенно известною, потому что на балу у английского посланника в Москве ее стало рвать. Великая княгиня Александра Иосифовна едет на днях, а Елена Павловна уехала сегодня. Почти накануне своего отъезда вручила она государю записку, составленную Кавелиным и Милютиным по ее указанию, о мерах, которые бы следовало принять по вопросу об освобождении крестьян. Записку эту государь взял с собой и выслушал все словесные объяснения великой княгини, с которой безусловно во всем соглашался.

На прошлой неделе великий князь просил меня доставить ему записку Самарина о крепостном состоянии, о которой писал ему Головнин. Когда я привез эту записку великому князю, он объявил мне, что накануне он спрашивал государя, читал ли он записку Самарина о с о в р е м е н н о м вопросе, т. е. о крепостном состоянии, на что государь ему отвечал, что нет, он не читал, «но слышал что-то о ней, кажется, от Елены Павловны, которая, кажется, хочет что-то п о п р о б о в а т ь у себя в имениях». При этом великий князь

сказал мне, что государь так устроил свои занятия, что кончает их к 12-ти часам и имеет много свободного времени, так что успевает рисовать акварелью, чего он не успевал делать давно, уже лет 15, и что он очень любит. Кроме того, по случаю этого свободного времени, он успевает иногда читать разные брошюры и журналы. Я, признаюсь, со своей стороны употребил все мои старания отвратить великую княгиню от намерения подавать государю записку, о которой выше было упомянуто, и возбуждать столь важный вопрос накануне своего отъезда за границу. Я советовал ей не делать этого вовсе не потому, что я опасался со стороны государя оппозиции, напротив, слова великого князя испугали меня тем, что из них явно видно, как он мало приготовил все к разумению важности этого вопроса и как легко им кажется п о п р о б о в а т ь что-нибудь сделать, не приготовив к тому ни деятелей и не обсудив порядочно мер. При отсутствии положительного убеждения и знания дела всякая попытка неминуемо будет остановлена первым препятствием, и, таким образом, вопрос, бестолково поднятый, нимало не подвинется вперед, а напротив, еще более запутается, произведет немалую тревогу и скомпрометирует великую княгиню. По моему мнению, прежде чем к чему-нибудь приступать, надо, чтобы государь понял сам, в чем дело, и решился бы на что-нибудь положительное, и за сим представил бы кому-нибудь разработку вопроса и приготовление ряда законодательных мер в одном смысле и направлении. Надобно, чтобы по крайней мере все министры знали относительно этого вопроса мысли и желания государя и действовали бы в этом смысле. А теперь, напротив, что мы и видим: министр внутренних дел, до которого прямо и непосредственно касается это дело, решительно слышать не хочет об этом вопросе, министр юстиции также, министр государственных имуществ также, шеф жандармов также, может ли при такой обстановке быть сделано что-либо дельное..? Добро бы еще сам государь имел твердое убеждение и волю, тогда бы он смог заставить всех действовать к одной цели и направлять их, но этого нет. Одно поверхностное чтение какой-нибудь записки недостаточно для уяснения понятий, когда читающий не приготовлен ни воспитанием, ни образованием к пониманию вопросов общих, административных и тесно связанных с ходом всех дел внутреннего управления.

В одном долгом разговоре с великою княгинею я настоятельно уговаривал ее отложить до возвращения ее намерение подать записку; к тому времени, я полагал, многое переменится, и в особенности в личном составе и направлении духа, и способности нового правительства более определятся. Великая княгиня сказывала мне, что граф Киселев точно так же, как и я, уговаривал ее повременить, но, по-видимому, советы наши не подействовали, потому что записка подана, принята очень хорошо, но что из этого будет — неизвестно. Я убежден, что кончится ничем или вздором. Как административный прецедент я также не могу одобрить вмешательство великой княгини в это дело, хотя участие ее и прикрывается тем предлогом, что она, как помещица Полтавской губернии, намерена войти в договор и сделки со своими крестьянами, но тем не менее трудно отделить в лице ее звание помещицы от официального положения, ею занимаемого. Записку Самарина великий князь

еще не прочел, но, вероятно, на днях прочтет, любопытно будет знать его образ мыслей по этому предмету, до сих пор он был весьма поверхностен по этому предмету, но по прочтении записки Самарина многое должно будет ему уясниться, потому что он в состоянии понять и вникнуть в глубь предложенного вопроса.

Теперь также в ходу другое весьма важное для России дело — это вопрос о железных дорогах. Завтра назначено по этому случаю экстренное заседание Комитета министров, в котором будет председательствовать сам царь. Ожидается борьба между несколькими иностранными компаниями, предлагающими свои услуги. По слухам, французская компания «Credit-Mobilier» более других находит поддержку в наших магнатах. Это еще не значит, чтобы предложения ее были самыми выгодными. Как бы то ни было, но, вероятно, на сих днях вопрос этот будет разрешен. По нашему ведомству продолжается порядочная неурядица по случаю совершенной неспособности барона Врангеля. Видимо, судьба преследует наш несчастный флот: всякий раз, как государь сядет на пароход, не проходит дело без каких-нибудь неприятностей.

На сих днях государь сделал смотр эскадры, отправлявшейся на Средиземное море. После осмотра, возвращаясь в Петергоф, на восточном рейде навалил на пароход военный крейсер и чуть-чуть не пустил весь пароход ко дну и, таким образом, чуть-чуть не утопил государя, великого князя и всю свиту. К счастью, пароход задел был боком, потерял мачту, трубу, кожухи, но остался на воде. Обломками ушиблены были военный министр Сухозанет в голову, а Грейг — адъютант великого князя — в ногу, один штурманский офицер был сброшен в воду и утонул. Такой плачевный финал смотра еще более усиливает предчувствие мое относительно отправленной так некстати и не вовремя эскадры. В материальном отношении новые винтовые суда и машины их мало испробованы, команды не выучены, команды неопытны, время позднее, бурное, все это невольно наводит сомнения в благополучном исходе экспедиции или в приходе ее к месту назначения. Само отправление эскадры в Средиземное море в то время, когда Франция и Англия, несмотря на наш протест, намерены бомбардировать Неаполь, вмешавшись самым незаконным и нахальным образом в дела внутреннего управления неаполитанского короля, не имеет, по моему мнению, никакого смысла. В случае не только войны, но просто несогласия с Францией и Англией — куда денется наша слабая эскадра? Балтийское море зимою закрыто, а других портов в Европе мы не имеем, в Черное море нас не пустят, и зачем соваться там, где легко можно получить безнаказанно оплеуху. Официальный предлог экспедиции тот, что будто бы приличие требует во время пребывания в Ницце вдовствующей императрицы иметь там эскадру и, кроме того, нужно дальними плаваниями образовать офицеров и команду. Но эти причины неосновательны, ибо императрица могла бы довольствоваться и одним пароходом, а команду учить можно было бы подождать до весны. Мне кажется, что великий князь настаивал на непременно отправлении в нынешнем году экспедиции для того, чтобы иметь самому предлог отправиться за границу, будто бы для осмотра эскадры. Все это как-то необдуманно и неутешительно.

16-го октября. В происходившем 9-го числа экстренном заседании Комитета министров под председательством государя окончательно решен вопрос о железных дорогах. Постройка их отдана французской компании, составленной из первейших капиталистов Европы. В течение 10-ти лет компания обязана устроить 4 тысячи верст железных дорог по следующим направлениям. 1) Из С.-Петербурга в Варшаву. Эта дорога была начата казною в царствование незабвенного, и как и при самом начале, так и теперь все единогласно признают ее не только бесполезной, но и вредной. Клейнмихель с незабвенным решили тогда это дело вдвоем, будто бы со стратегическими целями, и теперь в нее ухлопано уже 18 миллионов рублей серебром. Хотя и жаль бросить эти деньги, но, я думаю, все-таки лучше бы было это сделать, чем продолжать совершенно ненужную дорогу, которую следовало бы повести из Москвы. Компания всеми силами отнекивалась от этой дороги, но ее заставляют продолжать, и, по случаю согласия ее на это, ей дано преимущество перед прочими предложениями других компаний. За дорогу эта компания взяла 85 т. за версту, когда как за все прочие линии она взяла 65 т. за версту. 2) Из Москвы в Феодосию, не знаю хорошенько, через какие города — пойдет эта дорога. 3) Из Москвы в Нижний Новгород. 4) Из Орла, через Динабург в Либаву. В первые 3 года компания обязана открыть езду на 300-х верстах, через 5 лет — на 1000 верст, а в последние 5 лет — на остальных 2000 верстах. Правительство гарантирует 5% на 85 лет. Через 20 лет правительство имеет право выкупа. Не знаю, может ли кто с достоверностью определить то влияние, которое произведут у нас железные дороги. Очевидно, что влияние железных дорог будет огромное, но какие получатся непосредственные и прямые плоды их для внутреннего благосостояния, теперь, кажется, определить нельзя. Равномерно, мне кажется, будут ошибочны все, даже приблизительные, исчисления денежных выгод или невыгод для правительства от принятого им перед компанией обязательств.

Говорят, Чевкин в заседании Комитета говорил с большим увлечением и тактом и обнаружил много знания и добросовестного труда. Вообще есть сила, на которую я начинаю возлагать большие надежды, — это сила вещей, она неоспоримо начинает действовать, и ежели припомним обстоятельства, недавно происшедшие, то увидим, что она уже много сделала. Во-первых, положительно можно узнать, что изменилась атмосфера нашей общественной, или, лучше сказать, официальной жизни, люди начинают свободно дышать, уже это большой шаг к выздоровлению. Хотя еще дико кажется многим это отсутствие постоянного гнета, хотя еще правительство не составило себе плана и не определило образа действия в новом направлении, но, не менее того, важно то, что всеобщее окоченение начинает пропадать и как в отдельных лицах, так и в обществе начинает проявляться некоторое сознание. Что же касается правительства, то ему еще долго можно действовать отрицательно, занимаясь одною только отменой прежних распоряжений, или, как выразился Павлов в речи, произнесенной им на обеде по случаю милостивого манифеста, — *о т м е н и т ь, п р о с в е т и т ь, в о з в р а т и т ь* — вот программа, которая далеко еще не исполнена. В журналах начинают появляться статьи, обличающие су-

щественную перемену в цензуре, рядом с этими статьями печатаются в газетах статьи подлейшие по форме и содержанию, но они начинают возбуждать негодование, которое прежде не возбуждалось. Нельзя вливать вино ново в мехи ветхи, а потому к положительным действиям нельзя приступать, пока не сойдут со сцены прежние деятели, а на это нужно время. Может быть, даже хорошо, что в настоящую минуту нет ни одной замечательной личности, которая встала бы во главе каких-нибудь преобразований. Мы близко стоим к совершенностям и развлекаемся частностями, поэтому упускаем из виду общее, и я, может быть, в этом более других грешен. Отдельные факты часто смущают меня, и я готов прийти в отчаяние. Трудно сохранить мудрое спокойствие и не увлечься современными вопросами, которые, отдельно взятые, вовсе не имеют значения, которое придаем им в своем воображении.

4-го декабря. Вот уже более полутора месяцев, как я ничего не писал, частью от лени, а главным образом потому, что не представлялся случай заметить что-либо замечательное. Я, признаюсь, ожидал, что в течение нынешней зимы примутся за дело сгоряча и станут заниматься вопросами, возбужденными нашими неудачами.

Но в этом я, кажется, решительно ошибся. Может быть, все к лучшему, сгоряча, может быть, наделали бы глупостей. Довольно того, что оттепель продолжается, Россия отходит от 30-летнего мороза, который сковал ее члены, Россия начинает пробуждаться. Без этого пробуждения ничего сделать невозможно, я в этом убежден и потому мирюсь с настоящим застоем дел в надежде, что для деятельности еще придет время. Двор только завтра переезжает из Царского <Села> в Петербург, там очень весело, по-видимому, живут и занимаются разными играми, более или менее невинными, с фрейлинами.

В это последнее время сошли с лица земли два важных сановника — князь Воронцов и граф Перовский. О смерти обоих поговорили дня два, написали несколько статей в журналах, и засим вперед, вероятно, ни говорить, ни писать уже никто о них не будет. Кроме того, еще один министр, а именно Шереметев, ежели не умер, то по крайней мере после большого с ним паралича вряд ли возвратится к служебной деятельности. На место его назначают много кандидатов, более или менее возможных и невозможных.

При назначении Шереметева на должность министра государственных имуществ я не ожидал от него многого, но теперь полагаю, что ежели бы он продолжал несколько лет управлять министерством, то сделал бы более, чем я предполагал. Странно, что Шереметев, служивший долго в губерниях и Петербурге, знакомый близко с неурядицами всех наших управлений, не менее того, так был поражен расстройством и беспорядками принятого им министерства, что не мог прийти в себя. Этому министерству суждено, кажется, дойти действительно до крайних пределов безобразия, потому что продолжается уже почти полгода безначалие, теперь неизвестно, когда и как будет заменено назначением способного человека, который бы придумал какие-нибудь средства устроить порядок в этом хаосе. В Государственном совете толкуют уже в продолжение нескольких заседаний об уничтожении служебных

разрядов, определяемых ныне по воспитанию. Некоторые видят в этих мерах желание отнять приманку, побуждающую ныне учиться в университетах и других высших учебных заведениях и потому считают эту меру вредной, полагая, что без этой приманки учиться не станут. Я не придаю никакой важности этому вопросу и не думаю, что уничтожение разрядов могло иметь влияние на число поступающих в университет студентов. Мера эта, отдельно взятая, не имеет смысла, она тесно связана с вопросом об уничтожении чинов. Она предложена графом Блудовым и очень на него похожа, ибо он вечно придумывает маленькие полушуточки.

Новый председатель Государственного совета, граф Орлов, остался тем, чем он был, т. е. лентяем, а после Парижских конференций, на которых хотя играл роль весьма невыгодную, но, не менее того, почитая себя примирителем Европы, мало интересуется делами внутреннего управления, которых, впрочем, хорошенько не понимает, а г-н Бутков умеет так хорошо облегчить ему всякий труд и уверяет, что он гений, что нельзя предположить, чтобы президентство Орлова дало бы Государственному совету какую-нибудь жизнь.

Отъезд великого князя за границу назначили 5-го числа, намерение его быть во Франции и посетить Париж не отложено, несмотря на конференции, которые скоро там откроются и на которых нас опять будут казнить без милосердия.

30-го декабря. По многим причинам запустил я свой дневник, главное — потому, что был очень занят. По случаю отъезда великого князя за границу, который совершился 25-го числа, в самый день Рождества, все дела сделались спешными, и в особенности смета на 1857 год замучила нас совсем. Министр финансов требует сокращения расходов, а они прибавляются, иначе и быть не может, если хотят держать флот, то нужны деньги, и деньги большие, иначе будет дешево да гнило, а потому лучше вовсе не держать флот. Даже и тех денег, которые теперь отпускают на флот, весьма недостаточно — я убежден, что никакого прока из этой экономии не будет. С другой стороны, финансы наши в таком жалком положении, что знающие люди предвидят страшную катастрофу, но так как подобные пророчества делались весьма часто и не сбывались, то поневоле думаешь, что не в деньгах сила, а в хорошей, толковой финансовой голове, найдись она, страх бы, может быть, уменьшился...

Как в самом деле сильна своим терпением должна быть Россия, когда Брок может безнаказанно и в продолжение стольких лет — и столь трудных лет — управлять ее финансами. Смешно то, что Брок, видя, что дело идет пока ладно, банкротства нет, бумажки еще не упали, начинает думать, что это спокойствие есть последствие его мудрых распоряжений. Другая причина, по которой я долго ничего не писал, — что ничего особенно замечательного не случилось, но для памяти следует записать некоторые события, особенно в конце года, чтобы не упустить из вида всех обстоятельств, при которых наступает Новый год.

Отъезд великого князя за границу до сих пор я считаю несвоевременным. В политическом отношении он может быть вреден, в Париже его, вероятно, встретят хорошо, и если возбудит энтузиазм, то англичане, конеч-

но, со своей стороны будут противодействовать всякому тесному союзу России с Францией, и их эта поездка великого князя, конечно, раздражит. Наполеон сам будет поставлен в затруднительное положение. При всем своем желании быть любезным он не захочет компрометировать себя перед англичанами, тогда как мы еще не оправились после всех наших неудач и не можем быть для него надежными и полезными союзниками. Дело другое, ежели бы великий князь приехал в Париж в ту минуту, когда Англия, по каким-нибудь обстоятельствам, возбудила бы решительное негодование Франции и когда мы опять собрались бы с силами, тогда бы приезд великого князя мог бы сильно подействовать на общественное мнение во Франции и увлечь правительство... А теперь я уверен, что все дело кончится более или менее пышными праздниками, а может быть, даже и неучтивостями. В отношении же внутренней политики я продолжаю думать, что неприлично, немисливо после постыдного мира гулять по Европе и оставлять Россию, когда в ней все кипит желанием выйти из своего позорного состояния и заняться, наконец, обновлением всего устаревшего и уничтожением всей обнаруженной мерзости. Какие бы доводы в пользу этого путешествия ни приводились, я все-таки остаюсь при убеждении, что, в сущности, настоящая побудительная причина есть желание погулять, показать себя французам и другие более или менее неполитические отношения и побуждения. Дай Бог, чтобы я был не прав.

Перед отъездом великий князь испросил у государя производство меня в действительные статские советники и объявил мне об этом производстве весьма милым и любезным письмом. Я никак не ожидал этой награды, и она досталась мне вне всякой очереди, ибо не прошло еще полгода после последней награды Владимирским крестом.

На другой день отъезда великого князя, т. е. 26-го числа, происходила закладка памятника покойному государю на площади между дворцом Марии Николаевны и Исаакиевским собором. Простительно сыну верить, что памятник этот вполне заслужен, но в поспешности исполнить влечение сердца может быть много неблагоприятного. К счастью, намерение поставить памятник отцу, над которым приговор истории еще не произнесен, есть только неприличие, но оно ничего другого не выражает, в нем нельзя видеть положительное одобрение или усвоение прежней системы и прежнего направления. Отсутствие такта замечено было всеми при выборе дня, на который была сперва назначена закладка памятника, — выбран был день 14-е декабря. Но потом отложено было до 26-го. Не знаю, кто уговорил переменить этот день, но, во всяком случае, как само назначение с первого дня показалось всем странным напоминанием события, во всех отношениях печального, так и отмена показалась или уступкою общему мнению, или необдуманностью. Барельефы на памятнике должны изображать 4 укромных мятежа, а именно:

1) 14 декабря. 2) Польское восстание. 3) Бунт в Сенной. 4) Венгерское восстание.

Выбор этих сюжетов также поражает всех. Настоящего смысла я добиться не мог, потому что все толкования остались мне непонятными. На бывших кон-

ференциях в Париже отрезали у нас Белград и взяли Змеиный остров, мы все уступили большинству голосов, которое предвидели, а потому настаивали на собрании конференции, чтобы приличным образом уступить то, что требовали Англия и Австрия. Для нас сделано только то снисхождение, что эту уступку назвали и с п р а в л е н и е м г р а н и ц. Англичане за это обещают выйти из Черного моря, а Австрия — из княжеств²⁷, но срок ими положительно не определен. Думаю, что они опять найдут какой-нибудь предлог остаться.

Общее впечатление, с которым я провожаю старый и встречаю Новый год, очень трудно передать. Нельзя сказать, чтобы прошедший год не оставил о себе памяти, в политической нашей истории он оставил одну из самых позорных страниц — это подведенный итог целого тридцатилетия, для внутренней же истории он может служить введением — небогатый замечательными фактами или важными административными и законодательными мерами, он, однако, ярко отличается от предшествующих годов, так перед наступлением весны бывают дни хотя еще холодные, но с весенним запахом, предвестником наступающей оттепели. Свободнее дышала Россия в этот год, этого никак отрицать нельзя. В воздухе слышится другая жизнь, другое направление, оконеченные члены оживают, чувствуется благотворная теплота. Пошли нам теперь, Господь, достойного путеводителя и направь все решающие силы на благо — вот молитва, с которой мы должны встречать наступающий Новый год.

1857 год

16-го января. Совершенно неожиданно я все эти дни был заполнен работой, независимо от моих служебных обязанностей. Вот по какому случаю досталась мне эта работа. На сих днях завтракал я у великой княгини Екатерины Михайловны по случаю рождения ее мужа, и за завтраком рядом со мной сидел князь Василий Андреевич Долгоруков. Он обратился ко мне с вопросом о том, что делается у нас в министерстве, заговорили о кантонистах и об указе, их освобождающем, потом вдруг Долгоруков спросил меня: «Что, Вы тоже прогрессист?». Я отвечал ему, что не понимаю, в каком смысле он разумеет этот вопрос, тогда он мне сказал: «Ну, одним словом, что Вы также желаете эмансипации». Я отвечал, что желаю и уверен, что все этого желают, но что этим вопрос не разрешается, потому что недостаточно желать, а надо знать, как это возможно сделать. Тут началась у нас речь о том, как ничего вдруг сделать нельзя, что нужны перекидные искры и тому подобные общие места. Но я заметил, что Долгоруков повел речь об этом предмете недаром и что что-нибудь да под этим кроется. Я заметил ему, что во всяком случае весьма было бы полезно нашим государственным людям ознакомиться и изучить все стороны важного вопроса, и я спросил его, читал ли он некоторые записки, которые ходили по рукам, о мерах к освобождению крестьян. При этом я указал на записку Самарина, которая, по моему мнению, подробнее, шире и глубже излагает предмет и объясняет его. Он отвечал мне, что ничего не читал, и

просил меня доставить ему записку Самарина. Я вызвался сам приехать к нему и прочитать те отрывки, которые особенно любопытны. Он с радостью принял мое предложение и назначил для сего день и час. Не знаю, говорил ли я прежде в своем дневнике о записке Самарина, она довольно велика, и я был уверен, что Долгоруков ее всю не прочтет, а ежели и начнет читать, то остановится на тех местах, которые слабее других и тем не выведет для себя никакого заключения. Поэтому я и вызвался сам читать, надеясь вместе с тем узнать и причину, почему Долгоруков заинтересовался этим вопросом. В назначенный день, в 9 часов утра, я явился к Долгорукову с рукописью; он ожидал меня, и мы расположились читать. Я вкратце, на словах, передал общую мысль автора, потом прочел некоторые отрывки. Среди чтения доложили о приезде Позена — меня предупредил Долгоруков, что он будет. Оказывается, что Позен приехал сюда с разными проектами и, между прочим, с проектом освобождения крестьян. Этот проект им был составлен ежели не по приказанию, то с ведома государя, а потому и представлен был государю, и сам Позен имел по этому случаю аудиенцию. Вследствие сего государь назначил Комитет, под своим председательством, из нескольких лиц, в нем, кроме Долгорукова, сидят: Блудов, Гагарин, Корф, Чевкин, Сухозанет, Ланской и, кажется, Брок. Все это делается под величайшим секретом, и Долгоруков ничего этого прямо мне не объявлял, но я узнал частью догадкой, частью от других. В этом Комитете должен был разбираться проект Позена, и вообще должна была быть речь о том, как приступить к эмансипации и нужна ли она. Позен, зная почти наизусть записку Самарина, очень хвалил ее, но о своем проекте говорил только намеками, так что я ничего хорошенько из слов его не понял, но, в общем, у меня осталось весьма невыгодное впечатление от этого господина, он больше говорил о финансах, о том, как теперь у нас финансы всему преграда, а что между тем нет ничего легче, как привести их в совершенный порядок. Мне постоянно казалось, что Позен смотрит на вопрос крепостной как на дверь в министерство, полагая, что этим вопросом он скорее заинтересует и его призовут исполнять придуманные им финансовые меры, связанные с этим вопросом. При общем нашем по этому вопросу разговоре я нашел то, что ожидал, т. е. что Долгоруков не смыслит в этом вопросе ровно ничего и что ему хочется схватить какие-нибудь верхушки, чтобы уметь что-нибудь сказать в Комитете. Он, видимо, не партизан²⁸ этого вопроса, но вынужден иметь мнение в пользу его. Я старался объяснить ему, как важно изучить этот вопрос во всех отношениях и как невозможно ожидать, чтобы люди непрактические и несведущие могли бы что-нибудь придумать дельное к его разрешению. Но что откладывать этот вопрос надолго невозможно, но всего хуже неопределенность желания правительства, она всех беспокоит и вреднее всяких крутых мер. Долгоруков просил меня оставить эту записку Самарина для прочтения, что я и сделал.

Два дня спустя после этой конференции был я опять у Долгорукова, и он стал просить меня, чтобы я сделал ему экстракт из двух записок — Самарина и Позена, чтобы при этом объяснить, в чем мнения этих господ сходятся и в чем расходятся, и при этом наложил бы также свое заключение. Для исполне-

ния сего Долгоруков дал мне записку Позена. Воротясь, я принялся за работу довольно трудную, потому что надо было изложить довольно кратко и так ясно, чтобы и неученый человек мог бы понять. Прочитав записку Позена, я удивился ее неосновательности и еще раз убедился в том, что Позен несерьезно занимался этим вопросом, что предложенные им меры, связанные с финансовым вопросом, казались ему потому хорошими, что никто, конечно, кроме него, не взялся бы приводить их в исполнение, да и сам он, конечно, ежели бы сделался министром финансов, отказался бы от своего проекта. Здесь не могу я подробно описать, в чем, собственно, заключается мнение Позена и в каком виде я изложил Долгорукову свои соображения. Скажу только, что я в заключение напирал на необходимость вызвать сюда, в С.-Петербург, тех помещиков, которые, подобно Самарину, занимались крепостным вопросом, и им поручить разработку тех приготовительных мер, на необходимость которых все указывают единогласно. По окончании этой разработки пусть каждая мера пройдет законодательным порядком через все установленные для сего инстанции, но что поручать чиновникам — какому-нибудь Буткову или 2-му Отделению²⁹ — составление законов с целью приготовительными мерами дойти до изменения крепостного права есть величайшая глупость и положительный вред. Я доказывал также, что Комитет под председательством государя может и должен решить только один вопрос, а именно: «время ли теперь приступить к какому-нибудь действию и, хотя косвенно, касаться крепостного права или нет». Засим, ежели Комитет решит, что время, — то действовать последовательно и поручить дело людям сведущим, а не департаментским чиновникам. Долгоруков уверял меня, что совершенно со мною согласен, но что призыв в Петербург Самарина и других лиц возбудит говор и набат в гостиных. «Ежели Вы этого боитесь, — отвечал я, — в таком случае, ради Бога, не начинайте ничего и не касайтесь вопроса — значит, время еще не пришло, ибо, ежели Вы будете бояться разговоров в петербургских салонах и, под впечатлением этих разговоров, будете делать шаг вперед и два назад, то это будет просто беда». Долгоруков обещал мне, по миновании надобности, возвратить мою записку, я не успел оставить у себя копии, а писал прямо набело, очень хотелось бы сохранить эту записку на память.

Несмотря на весь секрет, о существовании Комитета знают весьма многие. По-видимому, государь твердо желает что-нибудь сделать, кто поддерживал его в этом желании — неизвестно и непонятно, потому что из окружающих его нет, кажется, никого, кто бы серьезно занимался этим делом. Как будто бы нарочно для утверждения государя в мыслях, что надо что-нибудь сделать, случилось здесь, на сих днях, довольно замечательное происшествие. Вышел указ, разъясняющий канцелярский порядок относительно записи в Книгу Гражданских палат актов об увольнении крестьян в звание свободных хлебопашцев. Указ этот, как водится, был напечатан, но редакция его довольно непонятна, и главное — не видно повода, по которому он издан, так что читатель, не зная, в чем дело, действительно может толковать его, как хочет. Народ каким-то путем проведал, что есть и вышел новый закон о свободе, в один день было куплено в Сенатской лавке 600 экземпляров, и на другой день опять собралось много людей перед

лавкой, лавку закрыли, народ разошелся, но не разуверенный в том, что действительно есть указ о свободе. Этот случай, как и все подобные, свидетельствует только то одно, что народ продолжает жить и надеяться и что благоразумие требует ему уступить заблаговременно, но в той мере, в какой это возможно сделать добровольно. Очень смешно, что история этого несчастного указа обрушилась на директора Сенатской типографии, которого Панин, как второй Шемяка³⁰, признал виновным в том, что он напечатал указ, на котором сам Панин собственноручно написал: «Обнародовать». Впрочем, я вполне убежден, что из существующего Комитета опять ровно ничего не выйдет. Люди, в нем сидящие, почти все, без исключения, ровно ничего не понимают в этом деле, а изучать вопрос серьезно им лень, да и некогда. Долгорукий, например, очень серьезно доказывал мне, что ему некогда заняться, потому что сегодня там бал, завтра обед и проч. и проч. ...

Боже мой, как поближе помотришь на этих государственных людей, то убедишься, что воображение бессильно представить все их ничтожество. Когда все это сообразишь, то убедишься, что не время подымать теперь какие-нибудь вопросы, невозможно представить, например, чтобы Ланской мог быть министром внутренних дел. Ну что с ним сделаешь... Ну где же ему думать и заниматься чем-нибудь дельным, это просто невозможно. Поэтому, действительно, ежели бы меня спросили по совести, следует ли теперь, при такой обстановке, поднимать вопросы даже второстепенной важности, я бы отвечал: «Нет, нельзя».

27-го января. Предчувствие мое оправдалось: все дело по возбужденному вопросу о крестьянах передано Буткову — это значит, вопрос похоронили. Бутков есть не государственный секретарь, а государственный гробовщик, вся его деятельность состоит в изготовлении более или менее красивых гробов для похорон всяких государственных мер и вопросов. Он исполняет в этом отношении обязанность свою с невозмутимым хладнокровием и спокойствием. Много на своем веку он схоронил важных и полезных мыслей, хорошо, ежели еще совсем похоронит, а то закопает в землю самую сущность дела, а частичку его пустит на белый свет, и от нее смердит надолго. Впрочем, я рад, что это дело ничем не кончилось, ибо более чем когда-либо убежден, что не вышло <бы> никакого толку, ежели бы продолжали заниматься этим вопросом, как начали. Дай Бог, чтобы все эти неловкие попытки остались бы без вредных последствий. На сих днях также внесен был Блудовым проект закона о неделимости имений свыше 100 душ, и этот проект также похоронили под самым нелепым предлогом. Нет, не наступило еще время для действий положительных, и когда-то наступит... неизвестно, и выждут ли события постепенного обращения нашего... Не дай Бог, чтобы вопросы воскресли сами собой и не застали бы нас врасплох.

Сегодня напечатан в газетах указ о железных дорогах — с нынешнего года приступит иностранная компания к работе, через 10 лет все линии должны быть готовы. Не мешало бы подумать о всех последствиях железных дорог и приготовиться к ним. Может ли страна, в которой будет 4 тысячи верст желез-

ных дорог в управлении министров, подобных Ланскому, Броку, Норову, Панину, Шереметеву и проч. ..., быть спокойной...

Сегодня в «Инвалиде»³¹ напечатан рассказ об обеде, данном Ростовцеву, в честь 25-летнего юбилея его службы при военно-учебных заведениях, за обедом говорились речи, и, кроме того, напечатаны несколько писем камер-пажей к Ростовцеву с изъяснением невозможных чувствований. В речи профессора Шульгина, между прочим, помянуто, что Ростовцев был исполнителем царского слова и при этом сказано: «И слово плоть бысть и вселися в ны» — он, значит, полупьяный Шульгин, проповедует второе воплощение в лице Ростовцева, а камер-пажи написали на французском и русском, в стихах и в прозе, такие подлости, с таким непомерным цинизмом, что невольно публикация всех этих писем возбуждает негодование самых кротких людей. Конечно, правительство не может запретить никому подличать на словах, но в печати оно не должно этого допускать, ибо это оскорбляет чувство приличия. Так точно непотребные дамы терпимы правительством, но, не менее того, не дозволяют публичного разврата на улицах. Можно ли ожидать, чтобы молодые люди 17–18 лет, которые написали подобные письма, в которых нескрытая ложь соединяется с циничною подлостью, можно ли ожидать, чтобы несколько месяцев спустя эти молодые люди, надев эполеты, сделаются благородными людьми и верными слугами царя и Отечества..? Молодой человек, решившийся на публичную подлость, без сомнения, не устыдится быть явным вором и взяточником. Грустно то, что эти факты немногих поражают, к несчастью, общество уже привыкло к официальной лжи и не выражает никакого негодования.

2-го февраля. Вчера я получил из Москвы печальное известие, что Хомяков отчаянно болен, у него воспаление, и он, как закоренелый гомеопат, не хочет лечиться. К тому же он видел сон, что сегодня, т. е. 2-го февраля, во время всеобщей, он должен умереть, и совершенно приготовился к смерти. Это известие очень меня опечалило. Провидению угодно отнимать у нас одного за другим всех передовых мыслителей и людей с душою и талантами. В течение нескольких месяцев мы лишились двух братьев Киреевских, а теперь, быть может, и Хомякова нет на свете. В последний раз, когда я видел Хомякова, я, шутя говоря о его стихах, сказал, что, читая их, мне сделалось за него страшно, ибо мне показалось, что он каким-то чудом еще уцелел, когда все люди с естественным талантом у нас выбыли. Видно, мое опасение было справедливо.

10-го (18-го???) февраля. Опасения мои не оправдались, Хомякову лучше, и, говорят, он вне опасности. Слава Богу.

28-го февраля. Я на сих днях вернулся из деревни, куда ездил по хозяйственным делам. В Москве я застал последний день масленицы, пробыл сутки и, боясь постоянной оттепели, спешил добраться до места на санях. Поэтому я в Калуге пробыл только несколько часов. В деревне я нашел все, благодаря Богу, в порядке, новый мой управляющий, кажется, будет понимать дело, народ им доволен.

Пользуясь соседством Оптиной Пустыни, я там говел и исповедовался у отца Макария, который весьма замечательный человек и имеет не только в околотке, но и в дальних местах России большое влияние. К нему пишут из всех губерний разные лица и просят у него духовных назиданий. В этот раз я ближе с ним познакомился и понимаю теперь, в чем состоит сила его проповеди. Он далеко не красноречив и не имеет ничего особенно привлекательного, но сила его убеждения так велика, что почти магнетически действует на слушателей. Самые простые вещи, или так называемые общие места, получают в его устах особенную силу. То, что мы привыкли принимать за риторические фразы и фигуральные изображения мысли, в словах его отзывается чистой правдой. Например, после причастия я пил у него в келии чай, и он при этом стал мне говорить, какой ныне счастливый день, как много нынче приобщилось к Христу и как должны сегодня ангелы радоваться на небесах. Он говорил эти слова просто, но слышно было в его голосе и видно было в его глазах, что он действительно как бы сам созерцает и видит радующихся ангелов и самого Христа. Я вовсе не был в таком духовном настроении, чтобы отнести на счет моего воображения то впечатление, которое испытывал.

Проездом через Калугу я остановился там на сутки и по этому случаю, ближе познакомился с братом княгини Натальи Петровны Евгением Петровичем Оболенским, недавно прибывшим на жительство в Калугу из Сибири вследствие милостивого манифеста о несчастных 14-го декабря. Я прежде много слышал о нем хорошего, о его уме и душевных качествах, мне весьма любопытно было познакомиться с одним из самых ретивых участников во всей печальной истории того времени. Впечатление, произведенное на меня Евгением Петровичем, самое приятное. Я нашел в нем гораздо более хорошего, чем ожидал найти, его личность дала мне довольно верное понятие о людях того времени, об их стремлении и направлении, а рассказы Евгения Петровича представили мне все прошедшее в новом свете, гораздо более правдивом, чем как мы привыкли слышать из других источников. В сущности, печальная история 14-го декабря не имела почти ничего общего с теми тайными обществами, которые составлялись задолго заранее этого дня; почти случайно мирный характер этих обществ изменился в составе своем, и в начале цель и стремление общества были так благородны, что нельзя было им не сочувствовать. Из всех отдельных личностей, по-видимому, была личность Рылеева, с которым Евгений Петрович был в самых дружеских отношениях и о котором он, в виде воспоминаний, написал несколько трогательных и чрезвычайно любопытных страниц, в которых, между прочим, приписывает стихи Рылеева, написанные им в крепости, в виде послания к нему, Оболенскому. Также рассказаны последние минуты Рылеева и прекрасно изображено то духовное настроение, в котором Рылеев находился перед своей смертью. Он умер совершенным христианином-мучеником, я не мог без слез читать этот простой рассказ. Постараюсь со временем достать с него копию. В Петербурге я незадолго перед сим познакомился с другим товарищем Оболенского — И. И. Пуциным и нашел, что между ними очень много общего. Они поражают живостью, молодостью своих ощущений, горячим сочувствием ко всему

хорошему и благородному и какой-то особенной душевной трезвостью. Постигшее их несчастье застигло их молодыми, полными жизни, энергии и любви к добру. Все эти качества в людях, живущих среди общества, с годами сглаживаются, изменяются от впечатлений, ежедневно принимаемых невольно от общества. Они же, со времени их молодости, были удалены от общества и сохранились, как бы в безвоздушном пространстве, целы и невредимы, достигнув вместе с тем почти старческого возраста, и это невольно поражает нас, не привыкших в стариках встречать таких живых ощущений и благородных порывов. Судя по этим остаткам и представителям прежнего времени, нельзя не сознаться, что современное общество в нравственном отношении далеко пошло назад. В Калуге, как вообще теперь во всех провинциальных городах, много толкуют об эмансипации, самые пошлые и нелепые слухи повторяются — частью от безделья и частью от невежества. Впрочем, в Петербурге и в Москве разговоры по этому вопросу не менее нелепы. Правительству приписывают разные намерения, везде критикуют, ругают и приписывают небывалые распоряжения. Одни боятся, другие просто врут, сами не зная, чего желать, одним словом, понятия нашего общества до такой степени неразвиты, что никакой мудрец не выведет по оным никакого заключения. Не знаю, как в других местностях, но в Калуге народ совершенно спокоен. В Москве на обратном пути пробыл двое суток. В день возвращения в Петербург я подавился костью и жестоко страдал, но, к счастью, кость была невелика и сама прошла, хотя и опускали мне в горло зонд; вся мучительная боль происходила оттого, что она поцарапала пищеварительный канал.

15-го марта. На днях начались выборы дворянства, говорили, что ябургское дворянство хотело предложить на выборах что-то вроде инвентарей, но ему запретили. Кроме того, один из депутатов дворянства, которому было поручено обозрение по земским повинностям, прочел в собрании какую-то, говорят, весьма дельную и славную записку о неправильности взимания и распределения и расходов земских повинностей. Все дворянство одобрило содержание записки и положило — раздать копии по уездам, чтобы подробнее обсудить предложенные меры. На другой день, когда копии были розданы, губернский предводитель пришел их отбирать, ссылаясь на приказание, будто бы, государя. Начались споры, и, наконец, копии опять возвратили, одним словом, вышла преглупая и пренеприличная история, и все это оттого, что распоряжающееся начальство само не знает, что можно и чего допустить нельзя, и компрометирует себя совершенно напрасно. В заключение генерал-губернатор, закрывая собрание, в речи к дворянству как-то, говорят, весьма неприлично сделал замечание дворянству, что оно судило и занималось вопросами, до него не касающимися. Разумеется, никто не возражал, и вся глупая история не имела никаких последствий, но зачем же делать совершенно напрасные промахи и глупости?

Еще одно происшествие делает теперь много шума. В Нижегородской губернии крестьяне г-на Рахманова проданы были помещиком г-ну Полякову. Когда стали сего последнего вводить во владение, то крестьяне объявили, что

они не могли быть проданы, потому что помещик клялся им, что их не продаст, а они говорят, что крестьяне даже внесли Рахманову деньги, чтобы он их не продавал. Не приступая вовсе к каким-нибудь беспорядкам, крестьяне объявили, что будут продолжать платить оброк и что пошлют к барину ходоков; началось дело, завязалась переписка, а между тем Поляков в Петербурге объявил жандармам, что его крестьяне бунтуют и не признают его. Государь послал флигель-адъютанта Эльстона для усмирения этого небывалого бунта. Тот, прискакав на место, ничего хорошенько не разобрав, стал пороть и порол до тех пор, пока все <не> закричали, что они принадлежат Полякову, тогда Эльстон захватил 12 человек, которых считал, неизвестно почему, виновнее других, — так как он следствия не производил, то и знать этого не мог. Захваченных людей привез в город, посадил в острог и написал губернатору, что таких-то сослать в Сибирь, а таких-то — в арестантские роты, а сам уехал. Прибыв в Петербург героем, донес, что он бунт усмирил, получил от государя благодарность и Владимира на шею. Между тем губернатор вошел к министру внутренних дел с представлением, что по закону определить в ссылку более 9-ти человек может только Сенат, а потому — что делать с распоряжением флигель-адъютанта. Государь приказал передать все дело в Сенат, а дела, оказывается, никакого и нет, и все распоряжение Эльстона не только незаконно, но и совершенно не нужно, ибо, в сущности, бунта никакого и не было. Не знаю, чем Сенат все это кончит. Вероятно, граф Панин придумает какой-нибудь подлый исход. Но, как бы то ни было, общество сильно негодует на жестокость Эльстона, и его бранят везде. Этот урок принесет пользу и заставит господ флигель-адъютантов хотя бы чего-нибудь опасаться. Эта манера рассылать флигель-адъютантов и употреблять их в делах, в которых они ровно ничего не понимают, производит много вреда. Нарушение всякого законного порядка в делах, не выходящих из круга обыкновенных, парализует окончательно власть местного управления. Привычка действовать во всем мимо установленных законом учреждений обличает недоверие к ним, а между тем ничего не делается, чтобы улучшить эти учреждения. Каждая посылка флигель-адъютанта есть отмена половины действующих законов, так что можно сказать, что флигель- или генерал-адъютант есть не что иное, как анархия в аксельбантах. Разумеется, все это делается по неведению. Государю так мало и смутно знакомы наши местные учреждения и их обязанности, что он почти не признает их существования и не считает возможным иными путями узнавать правду или действовать. Между тем эти гг. флигель- и генерал-адъютанты так мало подготовлены к возлагаемым на них обязанностям, что невольно на каждом шагу делают промахи и вздор. Во всем виновны те лица, которые при докладах не объясняют все последствия и значение подобных распоряжений. Во Владимирскую губернию, где также произошло какое-то недоразумение между крестьянами, послан был флигель-адъютант Столыпин. Этот, напротив, повел дело совершенно иначе, обвинил кругом помещика и дворянских предводителей, и, по его донесению, также без суда и следствия, сделано распоряжение. В Пензенскую губернию, тоже по какому-то нелепому доносу, послали флигель-адъютанта Потапова, который и теперь еще там и, как слыш-

но, не может никак отыскать, где бунтуют, никто из местных властей об этом ничего не знает. Все это доказывает, что наши правители находятся под каким-то безотчетным страхом и думают посредством командированных адъютантов предупреждать волнения. Этот страх главным образом происходит оттого, что много толкуют об эмансипации, а учрежденный для этого вопроса Комитет ничего придумать не может, да и не хочет. Государь опять повторил представлявшимся ему предводителям ту же фразу, которую сказал в прошедшем году, а именно, что он желает, чтобы разрешение этого вопроса последовало бы сверху, а не снизу. Неопределенность этих слов ставит всех в тупик и обличает отсутствие ясного сознания. Я давно уже не видал князя Долгорукова и не знаю хорошенько, что делается в этом Комитете, да, признаюсь, и знать об этом не любопытен, ибо заранее уверен, что никакого толку из всего этого не выйдет. Сюда приезжали почти все представители лучших проектов, как то: Самарин, Киселев, Тарновский и др., все они имели свидание с Ланским, Долгоруковым и др., и все они уехали, махнув рукой, с полным убеждением, что проповедуют в пустыне. К действительному участию в разработке вопроса они не приглашены, несмотря на то что Долгоруков уверял меня, вследствие поданной моей записки, о которой я говорил выше, что это непременно так будет. Эти господа консерваторы берут на себя сильную ответственность перед потомством. *Qui vivera — verga!**

23-го марта. Теперь все правительственные головы заняты и озабочены страшным состоянием наших финансов и постоянным ежегодным дефицитом в 70 миллионов. Обыкновенно эта финансовая паника овладевает нашими финансовыми людьми вследствие какой-нибудь записки; так, в прошлом году Тенгоборгский подавал записку, которая несколько недель наделала много шума, а потом перестали говорить и ухлопали 9 миллионов рублей на коронацию. Так и теперь поданная Гурьевым записка произвела всю эту тревогу, но на этот раз за это дело горячо принялся князь Горчаков — министр иностранных дел, и, кажется, он решился сильно говорить государю о необходимости сокращения расходов и улучшения наших финансов.

Об этой панике узнал я от князя Горчакова — наместника Царства Польского, недавно сюда прибывшего. Он долго, с жаром доказывал мне о необходимости убавить наполовину расходы на флот. На другой день был у меня военный министр Сухозанет и тоже сильно убеждал меня сократить нашу смету и утверждал, что и он будет сокращать, и министр двора тоже должен будет сократить. Я прямо сказал и Сухозанету, и Горчакову, что не в смете сила, смета есть бумага, она все терпит, пожалуй, ее можно переписать и убавить, сколько угодно, вся сила в возможности безотчетно приказывать производить расходы, лучше бы они об этом подумали. Министр двора, пожалуй, убавит свою смету, а вдруг императрица решит отправиться на л у н у и поедет, и деньги ей дадут, вот вам и смета. Точно так же и в нашем управлении, пожалуй, смету убавят, а расходы будут делаться по высочайшему пове-

* Поживем — увидим!

1857 год

лению, и мы под конец года донесем, что у нас дефицит, и Казначейство обязано будет его пополнить. Как бы то ни было, из слов и Горчакова, и Сухозанета я понял, что на смету Морского министерства, хотя она уже утверждена и мы по ней действуем, будут нападки. Я решился довести это до сведения великого князя и в письме Головнину подробно рассказал, в чем дело. При этом я объяснил, что готов защищать перед кем угодно, что при настоящем составе флота не только невозможно сократить смету, но еще вряд ли мы обойдемся без передержки. Но, разбирая вопрос с другой точки зрения, нельзя не согласиться, что весь парусный наш флот никуда не годится и держать его — значит даром бросать деньги. Нам нужно создать флот паровой, а поправлять старый невозможно; по мере постройки судов можно прибавлять и команды, а держать три дивизии, в то время как годных судов не наберется и на одну дивизию, есть вздор. Вчера я узнал, что тот же курьер, который провез мое письмо, повез также письмо князя Горчакова, министра, к великому князю, в котором он, говорят, весьма сильно изображает картину нашего финансового неурядища и умоляет согласиться на сокращение флота. Говорят, это письмо было читано и одобрено государем. Любопытно, что из этого выйдет.

6-го апреля. Сегодня получил я письмо от Головнина, в котором он извещает, что вместе с письмом моим получил он приказание сократить смету и что великий князь согласился на героические средства, приказав остановить в нынешнем году вооружение всех парусных судов в Средиземном море. Кроме сего, приказал сделать соображение о расформировании всех экипажей, к которым не приписаны винтовые суда, что составляет более половины флота. Кроме сего, великий князь отказывается от своего содержания по званию управляющего министерством, приказал убавить расходы по своему дому и продать лошадей и проч. и проч. ... Видно, действительно, письмо Горчакова было сильно написано и произвело сильный эффект. Итак, желание мое тоже осуществляется, более чем я предполагал. Но ломка у нас пойдет во флоте страшная и неудовольствий, конечно, будет много. Великий князь думает, что вследствие отданных им приказаний смета сократится на 5 миллионов. Я не думаю, чтобы в нынешнем году мы могли бы представить и половину этой суммы, ибо все заготовления уже сделаны и четверть года уже прошла. Князь Михаил Дмитриевич изумлен был, когда я объявил ему эту новость. Сегодня, или, лучше сказать, завтра, на заутрене во дворце, вероятно, что-нибудь еще узнаю.

7-го апреля. Сегодня, по случаю светлого праздника, никаких особенных наград и новостей не было. Только объявлено назначение Катенина оренбургским военным генерал-губернатором. Сегодня я узнал, что нападки на Брока до того усилились, что он решился у государя просить увольнения, но его удерживают за неимением лучшего, и действительно, в этой среде, в которой ищут, не найдут министра финансов. Как не обратиться, наконец, к людям специальным, на практике уже доказавшим свое знание в финансовых оборотах! Говорят, предлагали Меншикову — вот нашли министра финансов... Я забыл, кажется, упомянуть о смерти Тенгоборгского, перешедшего на днях в вечность, к величай-

шей радости московских фабрикантов, которых он уничтожил тарифом, и к немалому удовольствию, кажется, большинства русских людей.

12-го апреля. Я теперь очень занят составлением расчетов по случаю сокращения флота. К 17-му апреля обещают много новостей. Между прочим, положительно верно, что Михаил Николаевич Муравьев делается министром государственных имуществ вместо Шереметева, с сохранением Департамента уделов и Межевой канцелярии. Итак, этот господин, которому до сих пор не хотели поручать ни одного министерства, разом делается главным начальником целых 3-х управлений. Непонятно, как могло совершиться это назначение. Киселев, уезжая, просил только об одном государя, чтобы Муравьев не был назначен на его место, и государь не только согласился, но и высказал, говорят, свое невыгодное мнение о Муравьеве. Назначение это осуждается многими, хотя я мало с ним знаком, но так же чувствую к нему неприязненное чувство. Не думаю, чтобы он сделал что-нибудь полезное, хотя ломка старого управления будет, вероятно, большая. Мне жаль Хрущова, который, вероятно, не останется товарищем министра. Страшный холод стоит на дворе, весна обратилась в зиму, хотя снег весь сошел и реки прошли. Это может иметь самое губительное влияние на урожай. Сохрани Бог.

19-го апреля. Из обещанных к 17-му числу новостей оправдалось только назначение Муравьева и назначение Васильчикова директором Канцелярии военного министра. Ему предлагали быть товарищем министра, но он отказался. Впрочем, все, кажется, остаются при своих местах. На сих днях Муравьев пригласил к себе Хрущова и объявил ему о своем назначении, причем также весьма положительно сказал, что он всегда находил и теперь находит систему управления государственными имуществами совершенно ложною, а потому будет всеми силами стараться изменить ее и принять начало управления Удельным ведомством. Хрущов после этих слов объявил, что в таком случае он не может оставаться товарищем министра, ибо совершенно не согласен с ним в основных убеждениях, а потому просит довести до сведения государя причину, по которой он не желает более занимать место. Весь разговор, который по сему случаю происходил, был передан самим Хрущовым несколько дней спустя государю, который принял Хрущова с последним докладом весьма милостиво и вполне оценил благородный поступок Хрущова. Новая программа действий Муравьева есть совершенный пух, и я уверен, что никаких существенных перемен в управлении Государственных имуществ не последует и дело все кончится тем, что Муравьев начнет переменять личности, назначая на места людей, ему близких и ничем не отличающихся от тех, которых сместил. Система эта, какая бы она ни была, утверждена верховною властью вследствие долгих прений и рассуждений. Теперь является один человек, который случайно делается министром, и говорит, что эта система ему не нравится и он хочет ее переменить. Все это как-то очень дико, и по всему видно, что не только обстоятельства, но и личности сильно начинают путаться. Для обсуждения финансовых мер учрежден еще новый Комитет, но не думаю, чтобы это

помогло. Князь Горчаков-Варшавский — сидит в этом Комитете и поражен, до какой степени наши сановники не привыкли и не умеют серьезно заниматься делом. Их равнодушие ко всему его удивляет, и он сам хотя горячится, но тоже из этого немного будет проку.

Великий князь вчера приехал в Париж, где для него изготовят ряд празднеств. Известия, получаемые им из России, быть может, настроят его на веселье, он не может не чувствовать, что пребывание его здесь могло бы быть теперь весьма полезно. Об этом ему, кажется, со всех сторон пишут.

Не только Морское ведомство, но и другие ждут его возвращения с нетерпением, от него ожидают нового, хорошего, энергического влияния. Не знаю, оправдает ли он эти ожидания. Ежели при его способностях и энергии он был <бы> достаточно подготовленным общим образованием к делу, много бы он мог принести теперь пользы. Но, к несчастью, кроме незнания, есть много других причин, препятствующих ему иметь влияние, которое он мог бы иметь. Дай Бог, чтобы неуместность его теперешнего путешествия оправдалась бы по крайней мере пользой и чтобы изучение или даже беглый взгляд на порядок и правильное устройство управления в других государствах уяснило бы его взгляд на вещи. С уменьшением флота круг деятельности его уменьшится, а потому ему будет более досуга заняться общими вопросами, касающимися до целого государства. Но для того, чтобы влияние его приносило пользу, необходимо, чтобы оно было постоянно, а для этого нужно много такта и умения обращаться с людьми, а этого у него нет. Порывами он готов на всякое дело, а постоянной, продолжительной деятельности и стремления к определенной цели я от него не ожидаю. Вся надежда на его действительно замечательные способности и хорошие начала, может быть, со временем при благоприятной обстановке из него выработается человек. Дай Бог.

22-го апреля. Носятся слухи, что Комитет, занимающийся вопросом крепостного права, готовит проект какой-то меры. Наперед можно сказать, что эта мера будет ни то ни се, в какой степени она подвинет вопрос — неизвестно, ибо при настоящем настроении умов нельзя определить заранее последствий каких-либо распоряжений правительства. Мы пришли к такому положению, что по необходимости разом поднимается множество важнейших вопросов и отложить разрешение их невозможно, а, между прочим, при настоящей обстановке всего правительственного организма нельзя предположить, чтобы правительство могло действовать разумно и последовательно. Уменьшение армии и флота, вынужденное расстройством финансов, оставляет без дела множество недозвольных офицеров и чиновников и увеличивает число бездомных отставных солдат и бессрочно отпусковых. Все это увеличивает опасения за общественное спокойствие в случае каких-либо неудачных мер, а, между прочим, бездействие правительства также может вызвать неудовольствие и беспорядки. Как все это разыграется, одному Богу известно.

Двор переехал в Царское Село. Императрица должна на днях родить и не скрывает своего предчувствия, преследующего ее, говорят, со дня коронации, во время которой корона упала с головы ее, она во время всей беременности

была более обыкновенного слаба и теперь ожидает родов с большим страхом. Для нее выписан из Мюнхена акушер, которому платят баснословные деньги, как будто в России нельзя найти порядочного акушера. Сохрани Бог, если предчувствие императрицы сбудется, это будет величайшее бедствие, хотя она, по видимому, не имеет никакого особенного положительного влияния, но, не менее того, присутствие ее приносит положительную пользу тем, что удерживает от многих глупостей и разврата. Без нее женские интриги будут играть весьма важную и пагубную роль. Княжна Долгорукая — фрейлина — пользуется и теперь особенным вниманием царя, но до сих пор это ограничивается более или менее платонической любовью. Отношения эти, без сомнения, изменятся, ежели императрицы не станет, и тогда откроется обширное поприще всякой мерзости и дряни. Страшно подумать, что тогда будет.

25-го мая. Изъявленные мною опасения, к счастью, не оправдались, императрица благополучно родила в начале этого месяца, и все обстоит благополучно. Я ездил в Москву, провожал жену и детей и вернулся в Петербург один. Жена поехала в Оренбург на кумыс. В Москве нельзя не заметить некоторого движения, ежели не в обществе, то по крайней мере в литературном мире. Ослабление цензуры оживило деятельность ученых и литераторов. Явилась новая еженедельная газета «Молва» — орган славянофилов — и началась сильная полемика, выходящая, впрочем, даже из границ пристойности, между двумя враждебными направлениями: западным, органом которого «Русский вестник», и восточным, органом которого «Русская беседа». Как бы то ни было, не только университет, но и общество до некоторой степени принимает участие в этой полемике. В Петербурге, напротив того, с приближением лета еще более становится мертво. В Государственном совете рассмотрен новый тариф и прошел, как говорят, без изменений, ко вреду нашей внутренней промышленности. Один из депутатов московского купечества, вызванный в Петербург для дачи отзыва о новом тарифе, был глубоко убежден, что вернее всего защищать интересы промышленности деньгами, послал одному из производителей в Государственный совет взятку, за что был схвачен и посажен в III Отделение.

Великого князя ожидают в первых числах июня. По газетам судя, его очень хорошо приняли во Франции, и он, говорят, поражает всех своими способностями, знанием и деятельностью. Хотя он вовсе не намерен был ехать в Англию и хотя все путешествие во Францию было предпринято отчасти сделать аттенцию³² французам, но, несмотря на это, он теперь в Англии, королева прислала его звать, и наши политики не могли отказать. В Москве, да и вообще везде, очень недовольны этой уступкой. Хотя и объясняют наши дипломаты, что будто бы великий князь делает только вежливость королеве как женщине, а что в Лондоне он не будет и английского флота не увидит, но все это не может быть принято с уважением русскими, которые не могут делать различия между королевой и Англией, а после тех мерзостей, которые англичане делали в последнюю войну и даже после окончания оной, всякий знак особой к ним приязни может быть лишь оказан в ущерб достоинству России. Удивительно, до какой степени дипломатическая фразеология затемняет всякое, и

самое естественное, справедливое чувство. Я слышал князя Горчакова — министра иностранных дел, самыми цветистыми французскими фразами доказывающего, почему следовало великому князю сделать вежливость королеве английской. Фразы убивают в этих господах и совесть, и стыд, и всякий такт. Кроме того, они смотрят на всякий вопрос только с одной стороны, а именно: какой эффект произведет такое-то действие в Европе, но им даже на ум не приходит озаботиться или сообразить, как отзовется или поймется это действие в России. Поэтому наша дипломатия представляет нечто совершенно особенное, отрешенное от всякого соприкосновения с внутренним бытом государства. Она защищает большей частью какие-то отвлеченные интересы государства и, наоборот, жертвует почти всегда материальными его интересами в пользу какого-нибудь самого беспощадного принципа. Поэтому никого, например, не поражает откровенное признание министра иностранных дел, которое он делает иногда публично в обществе, и повторенное им несколько раз государю, что он, живя за границей, не имел случая ознакомиться подробно с внутренним управлением России и ее учреждениями и проч. и проч. ... Все это находят весьма естественным и не сомневаются, что Горчаков, не имея понятия о России, может быть прекрасным министром иностранных дел. Но спрашивается, возможен ли подобный факт где-нибудь, кроме России? Могли, например, быть терпим в Англии министр иностранных дел, который бы не знал Англии, или во Франции министр, незнакомый с Францией? Решился ли бы он в этом сознаться, не изъявив вместе с тем желания изучить ее? О, Боже мой, сколько нужно еще времени и какой страшный должен последовать переворот, чтобы заставить нас смотреть на вещи простыми глазами, а не сквозь призму французской фразеологии. Тот же Горчаков, сознающийся в совершенном незнании России и не желающий изучить ее, при мне называл себя великим патриотом — да какой черт в этом отвлеченном патриотизме? Надо заметить, что Горчаков в высшей степени честолюбив и при всяком случае рисуется своими достоинствами. Поэтому ежели бы он считал предосудительным не знать России, то он в этом бы, конечно, не сознался.

Немедленно по возвращении великого князя отправляются за границу государь, государыня, Михаил Николаевич и несколько царских детей; все это едет для сопровождения императрицы, которой будто бы необходимы воды. Это выдумал доктор, выписанный нарочно из неметчины. Вот тебе и экономия... Вот тебе и сокращение смет... Как согласовать эти противоположности, как объяснить подобные факты? Какое странное отвлечение интересов частных от общих, и это отвлечение делается бессознательно. Государство терпит крайнюю нужду в деньгах, банкротство висит на носу, и это не стесняет и не ограничивает издержек для собственных прихотей. Ежели бы государь сознавал единство своих интересов с интересами, общими всему государству, то, по природной своей доброте, он остановился бы и умерил бы расходы двора, простое чувство совести заставило бы его это сделать. Но нет, он просто не видит этой связи. Сокращают войско, уменьшают флот, останавливают все нужные государственные работы и в то же время строят новый дворец для Михаила Николаевича, когда два дворца, Аничков и Таврический,

стоят пустыми, строят в Гатчине великолепную псарню, едут за границу и живут там с 4-мя дворами в разных местах. Что это за страшное ослепление... К чему оно нас приведет — одному Богу известно... Все дела теперь приостановились — только и толкуют о путешествии, «патриот» Горчаков также едет с царем, поэтому надо думать, что с этим путешествием сопряжены какие-нибудь политические цели. Но я им не верю. Не в таком мы сейчас положении, чтобы могли командовать, и словесные переговоры ни к чему не приведут. В газетах говорят о свидании с Наполеоном. К чему оно? И, во всяком случае, к добру не поведет, его не перехитришь... Относительно внутреннего управления — тот же застой и та же неподвижность. Странное дело, внутри государство, видимо, пробудилось, война разбудила сознание, ослабленный гнет обличает движение умов, в литературе и в обществе заметно стремление к деятельности, а правительство по-прежнему, или, может быть, более прежнего, спит непробудным сном, точно как будто бы все замерло, и не видишь исхода этому состоянию. Бездна надежное чувство овладевает мною, и будущее представляется в самом жалком виде. Сохрани нас, Господь, от той пропасти, к которой мы стремимся.

5-го июня. На прошлой неделе в пятницу, т. е. 31-го мая, вечером, воротясь из Комитета, учрежденного при Военном министерстве по вопросу о школах для солдатских детей, в котором я членом, нашел я у себя телеграфическую депешу из Киля от контр-адмирала Глазенапа, который уведомляет Милютину, что великий князь накануне вечером на пароходе «Рюрик» ушел и приказал прислать директора Инспекторского департамента Краббе и меня к себе навстречу, на высоту Свеаборга. Вследствие этого приказания мы с Краббе на другой день отправились из Кронштадта на пароходе «Смелый» и в воскресенье, 1-го июня, встретили великого князя на указанном месте. Я заранее чувствовал цель, для которой был призван: великому князю хотелось, прибывая в Петербург, уже знать некоторые подробности о том, что там делается и что в отсутствие его делалось. Я вовсе не был приготовлен к подобному экзамену, ибо за последнее время не следил за общим ходом дел, да и никого не видал, от кого бы мог получить достоверные сведения.

Великий князь принял нас, по обыкновению, весьма мило и ласково. Наши вещи перенесли на «Рюрик», и мы пошли в Кронштадт. Едва успел я переменить форму, т. е. из парадной надеть сюртук, как меня позвал великий князь и стал расспрашивать обо всем, я передавал ему все, что знал. Он сказал мне, что, судя по письмам моим и Головнина, полученным за границею, ему представлялись дела наши в каком-то безотрадном свете. Я объяснил ему, что это действительно так и есть и что воображение его не обманывает.

Воротясь из стран, где был свидетелем кипящей деятельности и жизни, он, конечно, не мог быть не поражен, когда на всякий почти его вопрос о том, что делается по такой-то части, я должен был отвечать, что или ничего не делается, или делается ничтожный вздор. Мы заговорили о морской части. Он сказал мне, что горько ему было соглашаться на уменьшение флота и что он смотрел на это как на самоубийство. Я заметил ему, что флот отдельно от

других частей государства усовершенствоваться не может и что пока не будет порядка в управлении России, нельзя ожидать, чтобы флот существовал в том виде, в каком ему быть должно. Я указал ему на пример Франции, от успехов которой в морском деле он находится в изумлении, — с устройством вообще администрации улучшается у нее флот. Я намекал великому князю, что ему следовало бы вообще заняться общим делом, а флот придет сам собою. На эти слова он не возражал, видно было, что он далеко не уверен ни в своей власти, ни в пользе своего вмешательства в данное положение. По поводу предполагавшегося путешествия по России я сказал ему, что в народе говорят, будто бы распространился слух, что он поедет объявлять им волюную. По всей вероятности, путешествие по Франции великого князя не останется без пользы: он видел близко, как работают и как знают дело свое люди, которым вверено управление. Он сказал мне, что в особенности удивлен не тем силам, которыми Франция располагает на море в настоящую минуту, но тем, что она может выставить в случае надобности, — даже во всех самых малых портах, которые мы прежде считали ничтожными, огромнейшие склады запасов, заводы, верфи и проч. ... «Каждый из самых малых портов в пять раз обширнее Кронштадта, — сказал он, — и более снабжен всем необходимым для постройки и снабжения судов. Насмотревшись на эти богатства и огромные средства, действительно можно было впасть в отчаяние при виде Кронштадта с его пустыми магазинами, мелкою гаванью и ничтожными верфями». Несмотря на все это, великий князь, кажется, в хорошем расположении духа, хотя, видимо, устал от постоянных церемоний, представлений, обедов и проч. ... Весь вечер мы пели песни под звуки фортепьяно, а на другой день занялись после завтрака делом. Я прочел великому князю свои заключения на проект учреждения Морского министерства. В замечаниях этих я довольно резко и с особенною силою нападаю на мысль основную проекта и вообще на должность генерал-адмирала. Он возражал мне весьма основательно, и видно, что мысль проекта в нем совершенно созрела. Он объяснял мне, почему считает для флота у нас совершенно необходимой должность генерал-адмирала. Он убежден, что еще долго цари наши будут люди военные и в отношении этом специалисты. Отсюда он выводит необходимость иметь во флоте начальника с почти царскими правами. Вообще он говорил очень долго, основательно и умно. Со многими из моих предположений согласился. Его поразила ничтожность всех замечаний на проект, доставленных министрами и другими магнатами. Действительно, я прочитал все эти замечания: по ним можно судить о степени неспособности этих господ. Ежели бы задать ученикам в гимназии написать замечания, они бы это сделали толковее и дельнее. Граф Панин в особенности отличился. В проекте предположено генерал-адмиралу представлять ежегодно отчет государю через Государственный совет. И это делается, как сказано в объяснительной записке, с целью ограждать от безотчетности и произвола главных начальников, над действиями коих у нас не существует настоящего контроля. На это граф Панин возражает, что произвола главных начальников быть не может, а содержание отчетов, предел власти министров и порядок их ответственности подробно определены в

учреждении министров. Независимо от сего учреждено особенное, весьма подробное наблюдение за исполнением предписанных мер посредством в с е п о д д а н н е й ш и х в е д о м с т в. Каково возражение... Каков взгляд министра юстиции... Я заметил великому князю, что большинство лиц, возражающих против рассмотрения отчетов в Совете, думают ему этим угодить, а потому пишут из подлости, а Суковкин — управляющий делами Комитета министров, следовательно, занимающий одну из самых важных должностей в государстве, прямо начистоту ответил, что он суждения никакого иметь не может, а остается в полном убеждении, что проект, будучи составлен под наблюдением великого князя, не может не соответствовать видам и намерениям правительства. Вот какого рода отзывы подаются письменно на проект, который можно было бы обдумать и изучить. Что же можно ожидать от сих господ при изустном обсуждении дела, которое докладывается в Государственном совете?

Навстречу великому князю в Кронштадт никто из царской фамилии не выехал. Братья — Николай и Михаил — были оба в Петергофе и не сочли приличным выехать навстречу старшему брату, а прислали только по телеграфу спросить, где его можно видеть. Такое забвение приличий могло бы быть знаменательным, ежели бы не уверенность, что оно происходит от невнимательности к своим поступкам и от неуважения к мнению общества. Царь, впрочем, приезжал в Петербург на пристань, но, не дождавшись приезда великого князя, вернулся обедать в Царское Село, куда приказал звать великого князя.

На сих днях царь с царицей и детьми уезжает за границу, и великий князь остается председателем Правительственного совета³³, состоящего из Орлова, Блудова и Сухозанета. Но важных дел в этом совете не будет обсуждаться, и, вообще, управление, ежели только это возможно, еще более заглохнет. Мало узнал я еще подробностей и анекдотов о пребывании великого князя за границей, и в особенности в Париже, и когда узнаю, запишу.

16-го июня. Перед отъездом за границу царь согласился на меру, на которую до сих пор тщетно его старались склонить, а именно на уменьшение гвардии. Говорят, это уменьшение будет довольно значительно.

Чтобы понять всю важность этой уступки со стороны царя, надо знать, как он и все члены царской фамилии смотрят на гвардию. Она, в глазах их, имеет значение единственной охраны и надежнейшего оплота власти. Это странное ослепление, или, лучше сказать, обольщение, особенно сильно было заметно в покойном государе. Он верил и хотел верить, что силен своею гвардией. Поэтому решил в своем завещании сказать сии неловкие слова: «Гвардия спасла Россию в 1825-м году». Какое странное невнимание к событиям... От кого же гвардия спасла Россию в 1825-м году..? От гвардии же, потому что одна гвардия бунтовала на площади, а народ почти не принимал никакого участия. Как бы то ни было, решение государя относительно убавки гвардии нельзя не признать явлением утешительным, лишь бы только при исполнении сей меры не последовало каких-либо распоряжений, уничтожающих всю пользу предполагаемого уменьшения.

1857 год

Великий князь остался теперь председателем Правительственного комитета, но это не мешает ему жить большею частью в Кронштадте. По-видимому, он решительно не намерен ничем заниматься, кроме флота. Быть может, он не верит ни в пользу, ни в силу своего влияния, но несомненно и то, что он не умеет и по характеру своему не может поставить себя в то положение, при котором он мог бы получить значение. Различие в характерах и вкусах, несходство в понятиях, видимо, мешает двум братьям быть в тех отношениях, как бы им для блага России быть следовало. Это очень жаль. Холодность в отношениях их может, при удобном случае, в особенности при содействии людей, всегда готовых на мерзость, превратиться во вражду, и тогда это будет великим для России бедствием. Сохрани Бог. В особенности опасуюсь я бабьих сплетен. Великая княгиня Александра Иосифовна, по причине своего сумасшедшего характера, в явной вражде с императрицей и Марией Николаевной. Она наделает много вреда еще, я это предчувствую. Уже и теперь влияние ее на великого князя самое бедственное. Удивительно, право, как Провидение окружает у нас всякого способного человека такими обстоятельствами, которые превращают ни во что все его способности и достоинства.

12-го сентября. Давно я не писал ничего в этой книге, потому что был в разъездах. 16-го июня меня призвал великий князь и объявил, что командирует на следствие в Николаев, где, по доносу Бутакова, заведующего там морской частью, открылись будто бы большие злоупотребления по интендантству. Из донесений Бутакова явно было видно, что он писал сгоряча и под влиянием разных личностей. Бутаков требовал разных уполномочий, чтобы действовать, не стесняясь законом. Великий князь, также сгоряча, требовал от меня, чтобы я, не стесняясь формой, отправился бы истреблять мошенников, но я, предчувствуя и видя из самих донесений, что заводимые Бутаковым на разных лиц обвинения — совершенный вздор, настоятельно доказывал великому князю, что действовать сгоряча и произвольно в таких делах невозможно и что я как юрист никогда на это не соглашусь. Бывший по этому случаю разговор очень замечателен. За отсутствием государя, высочайшее повеление о командировке меня, жандармского полковника и чиновника от новороссийского генерал-губернатора объявлено правительственной комиссией, причем Блудов не мог не сделать величайшей глупости, посоветовав теперь же посадить всех прикосновенных, не обозначив, кого именно, и описать их имущество. Обе эти меры, совершенно ненужные и незаконные, еще больше запутали дело. Я поехал с полным намерением действовать независимо от всяких влияний и произвести следствие по всем правилам науки. В чем состояло дело и как производил следствие, об этом писать некогда теперь, а для памяти я сохранил некоторые бумаги, объясняющие всю трудность добиться толку от людей, не имеющих никакого понятия о том, что такое закон и право. Я прожил в Николаеве почти полтора месяца, работал, как вол, но не чувствовал усталости, потому что был под влиянием восхитительного климата. Из Николаева я ездил в Севастополь и на южный берег. Севастополь произвел на меня необыкновенное впечатление. Груды камней свидетельствуют, что тут был город

и что он пал, окровавленный кровью сотен людей. Остатки бастионов, лагерей и проч. еще живо напоминают обо всем и живо говорят воображению. Много сильных ощущений имел я там, в Севастополе, они не изгладятся из моей памяти, и я когда-нибудь на досуге запишу их. По возвращении из Николаева, в половине августа, я застал уже жену в Москве, возвратившуюся из Оренбурга, где пила кумыс и, благодаря Богу, оправилась. В Петербурге принят я был хорошо и представил дело в настоящем его виде. Вследствие моих донесений посылается в Николаев военно-судная комиссия, которая, конечно, оправдает многих, совершенно напрасно обвиненных. Государь опять уехал за границу и перед отъездом утвердил журнал Комитета об эмансипации³⁴, которым сильно этот вопрос двинут вперед. Теперь готовят проекты указов, которыми, с одной стороны, будут приглашены помещики вступать в обязательства со своими крестьянами, не стесняясь условиями, указанными в законах об обязанных крестьянах, а с другой — рядом ограничительных мер будут помещики к этому понуждены. Вообще это дело принимает, кажется, весьма серьезное направление. Что из этого выйдет — одному Богу известно. Мудрено предположить, чтобы все обошлось благополучно, а также нельзя думать, чтобы завязалась какая-нибудь серьезная кутерьма. Раскольнический вопрос также серьезно поднят в весьма либеральном смысле. Это также вопрос капитальный и вечевой.

Несмотря на интерес, возбуждаемый сими делами, я, прельщенный чудным климатом Крыма, решил ехать на зиму за границу с женой и старшими детьми и получил не только отпуск на шесть месяцев, но уже и паспорт у меня в кармане. Завтра еду в Москву, оттуда на несколько дней в деревню, а потом в Варшаву, откуда прямо в Париж, а на зиму, вероятно, в Ниццу. Впрочем, это еще не верно. Ежели лень меня не одолеет, то намерен продолжать дневник за границей, только в другой тетради, чтобы не таскать эту книгу с собой.

1858 год

26-го июля. Вот уже скоро год, как я ничего не писал в этой тетради. Я не брал ее за границу, а в течение этого времени совершилось так много замечательного, что пересказать, даже вкратце, все события очень трудно. Я выехал из России в начале октября прошедшего года из Варшавы, через Бреславль, Дрезден в Баден, где пробыл 2 дня для свидания с великой княгиней Еленой Павловной, а потом через Страсбург отправился в Париж и там жил 2 недели. В это время успел только поверхностно ознакомиться с городом и заняться немного судебной частью, думая на обратном пути пожить здесь подольше. Из Парижа через Марсель отправились мы в Ниццу, где думали расположиться на зимней квартире, но, пробыв 2 недели, решили отправиться зимовать в Рим. Там поселились вместе с графиней Протасовой. В конце января я нечаянно собрался в Иерусалим вместе с генералом Исаковым, старинным моим приятелем. Мы выехали с ним накануне карнавала сухим путем в Неаполь, там сели на пароход и отправились через Мессину в Мальту, в Александрию, а оттуда в Яффу и потом верхом в Иерусалим. Подробности пребывания мое-

го в Иерусалиме вкратце записаны мною в записной книжке, на досуге я их приведу в порядок. В Иерусалиме и окрестностях, т. е. на Иордане, Иерихоне, Мертвом море, Вифлееме, пробыли мы две недели. Прибыв в Иерусалим в пятницу, на первой неделе поста, мы всю вторую неделю говели. Перед нами, за неделю, приехала наша духовная миссия, епископ Кирилл, и мы все время имели служение на славянском языке. Из Иерусалима мы обратно поехали в Яффу и потом в Александрию, откуда по железной дороге в Каир, где прожили 10 дней, осмотрев все окрестности до Мемфиса. Воротясь в Александрию, сели на английский пароход и опять через Мальту и Мессину — прямо в Неаполь, а потом в среду на Страстной неделе — в Рим, где, по милости Божией, всех застал здоровыми. По полученным известиям из Петербурга, я должен был торопиться назад, в Россию, а потому отправился с женой и детьми в Ниццу, где, оставив семейство для морских купаний, сам отправился через Марсель в Париж, где застал телеграфическое приказание немедленно возвращаться, а потому намерение мое пожить в Париже и хотя мельком взглянуть на Лондон не могло исполниться.

В начале июля я прибыл в Петербург, немедленно вступил в должность, и до сих пор занятия не позволяли мне продолжать записок. В общих чертах, для связи, расскажу, что происходило здесь все это время. Я оставил Россию в то время, когда вопрос эмансипационный только что начинал принимать серьезный вид. В Секретный комитет назначен был великий князь, и по его предложению состоялся журнал, в котором весь вопрос разделен был на 3 периода: первый — подготовительный, в котором предполагалось позволять всем помещикам совершать сделки с крестьянами, не стесняясь законно существующими только двумя видами; вместе с тем предполагалось издать ряд ограничительных мер для обуздания своеволия помещиков. Во втором периоде предполагалось сделать условия крестьян с помещиками обязательными. В третьем периоде должно было последовать уже окончательное освобождение посредством выкупа обязательств, лежащих на крестьянах. Срок этим периодам не определялся. Журнал, в котором это все было постановлено, утвержден государем, и в резолюции государь пояснил, что надеется, с помощью Божией, что намерение его будет исполнено. Засим поручено было всем членам Комитета написать проекты указов. Так что, уезжая из России, я думал в скором времени узнать уже о выходе указов. Но, к величайшему моему удивлению, вышло иначе.

В ноябре месяце великая княгиня Елена Павловна, находясь также в Риме, получила первые печатные экземпляры рескрипта государя к виленскому генерал-губернатору об учреждении комитетов в Западных губерниях для составления положения об улучшении быта крепостных крестьян. Очевидно было, что подобные комитеты будут устроены и в других губерниях и что вопрос эмансипационный вышел уже из канцелярской тайны, а поставлен на вид и на общее рассуждение всей земли. Почему вдруг отошли от прежнего плана и разом так скоро подвинулись вперед — этого я хорошенько до сих пор узнать не мог, ибо причины тут совершенно случайные.

Приезд Назимова³⁵ и предложение дворянства об изменении инвентарного положения было поводом к различным новым толкам, дело запуталось,

и результатом всего этого и был рескрипт, совершенно изменивший первое предложение, которое, как мне теперь кажется, было бы, быть может, лучше. Издали, не видя всей подноготной, я порадовался появлению рескрипта, мне казалось, что правительство поставило себя в весьма выгодное положение к этому вопросу, сложив на дворян инициативу и разработку его. Но я опасался, что не выдержит правительство этой пассивной роли и будет увлечено желанием торопить и поощрять дворян к изъявлению желаний на учреждение комитетов. Так и вышло. С появлением рескриптов вся Россия завопила, говор пошел такой, что ничего нельзя было во всем этом ни разобрать, ни объяснить. Когда еще теперь, т. е. по истечении 9-ти месяцев, нет другого разговора по всей России, то легко себе представить, что было тогда, когда для массы вопрос был поставлен неожиданно и без малейшего в чем бы то ни было приготовления.

По доходившим до меня слухам и разным признакам видно было, что великий князь во всем этом вопросе принимал самое деятельное участие. Независимо от сего им возбуждены были и другие важные вопросы, касающиеся других министерств, также вопрос о раскольниках, в пользу которых он предлагал самые либеральные меры, совершенно невозможные и неисполнимые. Поездка Мансурова в Иерусалим³⁶ и длинные его донесения дали повод начать крестовый поход в защиту наших паломников и ограждения их прав от зависимости от греческого духовенства. По поводу этого вопроса завязалась полемика и споры с Никодимом и министром иностранных дел. По поводу откупов по приказанию великого князя налитографирована была записка, очень не понравившаяся министру финансов. Наконец, налитографирована была и разослана ко всем членам Государственного совета и другим лицам моя записка с замечаниями на внесенный Блудовым в Совет проект нового Устава гражданского судопроизводства. Эту записку я составил в Риме на досуге, собственно, для великого князя, никак не ожидая, чтобы она получила такую гласность. Поэтому в ней многое было так сильно выражено, что я сам испугался, когда узнал о ее распространении.

Все эти разом возбужденные вопросы встревожили не привыкшее к сильным ощущениям петербургское общество и власти, и все это обрушилось гневом на великого князя и всех его окружающих. В это самое время меня совершенно неожиданно пожаловали в статс-секретари, что и, прибавив мне завистников, дало еще большее значение моей записке. Ее читали нарасхват, копии посылались по всей России. Я все это узнал по письмам и благодарил Бога, что меня нет в Петербурге. В это время граф Блудов в защиту своего проекта написал оправдание сам и заставил написать подробный ответ одному из помощников статс-секретаря Государственного совета, некоему господину Зарудному. Этот ответ мне также был прислан для возражения, и я, воротясь из Иерусалима, просидел 2 ночи за этой работой. Как бы то ни было, но, по общему отзыву, записка моя осталась не без пользы. Проект Блудова ежели не отвержен, то почти отложен в сторону, и многие существенные вопросы по этой части подняты. Лучшим доказательством того, что записка моя многих затронула за живое, служит то, что по возвращении моем

в Россию я сам видел, что многие начали серьезно заниматься этими вопросами, и от многих лиц я получил несколько более или менее дельных записок по этому предмету. Другой практической пользы, кроме уяснения сознания в молодых деятелях, я не ожидаю, ибо уверен, что при теперешней обстановке нашей законодательной власти и министра юстиции ничего дельного сделать нельзя. Слухи о назначении меня министром юстиции или товарищем до такой степени распространились, что все, даже за границей, меня поздравляли с этим назначением, но на поверку оказалось, что, кажется, и речи об этом серьезно не было. Меня так торопили скорее вернуться в Россию потому, что, за отсутствием Головнина, уехавшего за границу, мой вице-директор Набоков назначен был исправлять его должность, а департаментом управлять было некому.

Встречен я был великим князем очень ласково и, по случаю назначения статс-секретарем, представлялся государю, с которым имел замечательный и довольно длинный разговор, который намерен записать для памяти подробно. Я был приглашен в Царское Село. Государь принял меня в кабинете очень приветливо, дал руку, посадил и начал разговор о моем путешествии, об Иерусалиме, и потом спросил, много ли спорили и говорили в Риме о современном вопросе эмансипации. Я отвечал, что говорили много, а спорили менее, вероятно, чем в других местах, ибо в Риме мало было лиц, не сочувствовавших этому вопросу. «Однако, наш бедный Олсуфьев В. Д., — прервал государь, — он, кажется, очень был встревожен». Я отвечал, что, действительно, Олсуфьев был поражен известием и появлением рескриптов и был в большом беспокойстве, по возвращении же моем из Иерусалима я уже не застал его в живых. «Теперь весь вопрос, — продолжал государь, — сосредоточился на вопросе об усадьбах, и спорят только о нем, а не вообще об освобождении, но тут я не могу сделать никакой уступки, я никак не могу допустить вредного пролетариата, и только отдачею крестьянам усадеб можно предотвратить это».

«Эта мера необходима и справедлива, ею не нарушаются ничьи права, ибо помещики получают вознаграждение за отходящую от них собственность». К этому государь прибавил еще несколько слов, которых припомнить не могу, но которые выражали какую-то отвлеченную юридическую мысль. Я заметил ему, что в основании его мысль совершенно верна, но что, с другой стороны, также понятно, почему именно эта мысль не находит большого сочувствия между помещиками, но на это есть много причин и, между прочим, та, что наше дворянство, как вообще масса нашего общества, не привыкло рассматривать вопросы с отвлеченной юридической точки зрения, что им доступнее осязательный способ мышления, а так как в уступке усадеб помещики не видят прямой своей пользы, а, напротив, находят много затруднений при исполнении этой меры, то естественно, что они вообще ее порицают. «Я не понимаю, — прервал государь, — в чем могут заключаться эти затруднения, в особенности теперь, мы изданной программой дали средства обойти все эти затруднения». Во время этого разговора, обращаясь ко мне, государь говорил: «Вы». Засим, после некоторого молчания, он спросил меня: «А что, ты слышал все, что говорят о брате Константине и как его бранят?». Я отвечал, что

слышал и очень об этом скорбел. «Да, это очень неприятно, — продолжал государь, — тем более, что брат тут ни при чем. Все, что можно сказать, так это то, что он иногда бывает неосторожен в словах». Я заметил, что как ни неприятны эти слухи, но они понятны, ибо нельзя было предполагать, чтобы подобная важная государственная мера могла бы встретить единодушное сочувствие, а у нас всякое неудовольствие обыкновенно выражается ругательствами, обращенными к лицу одного кого-либо, и в настоящем можно считать счастливым, что неудовольствие обрушилось на лицо только великого князя. Государь, видимо, понял мою мысль и сказал только: «Да, это все-таки очень неприятно». Хотя я еще в точности не знал, в чем обвиняли перед государем великого князя, я все-таки хотел воспользоваться случаем, чтобы что-нибудь сказать в оправдание, поэтому я продолжал так: «Ежели, государь, великий князь подвергся обвинению в излишней горячности, так в оправдание ему может служить то, что в таком вопросе весьма трудно всегда сохранить спокойствие, тем более что одна крайность порождает другую, и горячность с одной стороны являлась вынужденным равнодушием с другой стороны. К тому же несчастию, до сих пор все дела, которые шли своим обыкновенным, спокойным путем, как-то у нас всегда останавливались на полпути и не кончались ничем». — «Да, это к несчастью, правда», — заметил государь.

После некоторого молчания государь спросил меня: «А что, ты знаком с Головниным?» — «Весьма знаком, государь», отвечал я. «Какого ты о нем мнения?» — «Самого лучшего, государь, я знаю Головнина за самого честного, способного и благонамеренного человека». Государь на это ни слова не сказал, тогда я заметил, что ежели и Головнин, может быть, также подвергся обвинению в излишней горячности, то и это объясняется общим впечатлением поднятого вопроса, и при том Головнин человек болезненный, а потому, может быть, горячее других принимал к сердцу все спорные вопросы. «Да, — отвечал государь, — я и сам так его понимаю и этим объяснил себе, почему вместо того, чтобы сдерживать брата, он, напротив, его подстрекал». В это время вошла императрица и перебила наш разговор. Государь встал, подошел к ней, несколько минут с нею переговорил и потом опять, воротясь ко мне, посадил и стал продолжать разговор. Говорил о Морском министерстве и о том, что слышал, что в моем департаменте порядок. Я заметил ему, что имел счастье найти хороших помощников, а что все дело в людях. «Да, это главное», — возразил государь. Тут опять нас перебили, вошел камердинер и доложил что-то государю, который вышел из кабинета и приказал его дожидаться. Потом, воротясь, сказал, что ему сегодня некогда со мною говорить долее, дал руку и сказал, что надеется, что теперь у нас все пойдет тихо и хорошо. Я отвечал, что клянусь служить верно всеми своими силами. «Пойди к императрице, она тебя желает видеть», — сказал государь, провожая.

Вследствие сего я прямо отправился к императрице, обо мне доложили, и она меня немедленно приняла. Много расспрашивала об Иерусалиме, говорила о Мансурове, о его брошюре и о будущем устройстве богоугодных заведений в Палестине, потом спросила, знаю ли я Черкасского, о котором писала ей Елена Павловна как о человеке, которого бы следовало употребить по кре-

стьянскому вопросу. Я подтвердил мнение великой княгини, затем речь началась об эмансипации, сперва в общих выражениях изъясляла она опасение, что пошли дальше, чем предполагали, что состав Комитета не обещает много хорошего; вообще из всех слов ее я мог заключить, что она видит довольно ясно настоящее положение вещей и чувствует, что ералаш происходит оттого, что главные действующие лица сами не отдают себе отчет, что делают. Отвечая на мысль ее об опасностях, я сказал, что все это, с помощью Божьей, может быть исправлено, но что главная опасность не заключается в видимых проявлениях. Настоящая опасность заключается в том факте, что когда государь в первый раз собрал близких ему и доверенных лиц и предложил им в первом заседании вопрос, следует ли поднимать крестьянский вопрос теперь или еще можно подождать, то все единогласно объявили, что следует непременно и что откладывать нельзя, а между тем все эти лица в душе были совершенно противоположного мнения и что до сих пор они продолжают играть двойную игру. Это не может оставаться секретом, ибо шаткость выражается во всех действиях правительства. «Jamais ces messieurs ne seront à la hauteur des bonnes intentions de l'Empereur, Madame»*, — заметил я, и она наклоном головы дала мне почувствовать, что со мной согласна. Разговор наш продолжался таким образом более получаса, и я вынес от обоих свиданий чувства самого искреннего расположения к двум добрейшим существам, возбуждающим сожаление и вместе неограниченную любовь. Так бы хотелось им помочь, но чувствуешь, что не можешь. Я передал слово в слово мой разговор с царем и узнал при этом, что с отъездом Головнина, и даже прежде, великий князь перестал заниматься общими делами, не касающимися собственно Морского министерства. Он думает, что недолго так продлится и что опять к нему обратятся, когда все перепутается. В ожидании этого он намерен жить в Стрельне и Павловске и заниматься цветами.

К несчастью, такое вынужденное спокойствие более сообразно с его природным расположением, чем деловая деятельность, к которой подвинут он был Головниным. Странно, нет человека, менее способного на какую-нибудь самостоятельную и упорную борьбу, чем великий князь, а общественное мнение приписывает ему разные нелепые замыслы. Нет человека, менее способного стать во главе какой-нибудь партии, а в обществе — он чуть-чуть не главным возмутителем. Впрочем, это ошибочное понимание объясняется тем, что лица, в отдалении стоящие, не могут отделять личность великого князя от дел его и не могут знать, в какой мере дела его суть выражение его личности; чтобы объяснить это, нужно написать подробную характеристику этого человека и показать всю внешнюю его обстановку, которая имеет постоянное и решительное влияние на все его действия. Несколько дней спустя после представления моего государю был я позван к Ольге Николаевне, которая гостит теперь здесь с мужем. С этой во всех отношениях милой женщиной был у меня весьма длинный разговор, которым я воспользовался, чтобы сказать все,

* Никогда эти господа не будут достойны доброй воли, каковая движет императором, Ваше Высочество.

что только мог, в защиту тех видимых обвинений, которые посыпались на Головнина после его отъезда. Я припомнил великой княгине, какие услуги оказал Головнин великому князю и как много великий князь и государь должны быть обязаны Головнину по семейным делам; я убежден, что ежели сделано по Морскому ведомству что-нибудь дельное, то этим обязаны Головнину. Он, несмотря на все препятствия, возбудил в великом князе охоту к занятиям, образовал и развил его. Слова мои нашли сочувствие и, вероятно, были переданы императрице. Вообще, кажется, на дамскую половину августейших особ я не произвел дурного впечатления. Доказательством к тому служит то, что я два раза был зван обедать к императрице и что на маленьком балу на собственной даче говорил с царицей в продолжение всей мазурки, притом был эпизод довольно замечательный.

Сюда приехал американец Юм — известный медиум, обладающий, по отзыву всех видевших его, какой-то сверхъестественной силой. Еще в прошлом году о нем много писали и говорили в Париже. Рассказывали, что под его влиянием не только столы вертятся, но и выделяют разные другие штуки. Также присутствующие при опытах чувствуют прикосновение каких-то невидимых рук и проч. В Париже Наполеон был, говорят, очень поражен силою Юма и несколько раз присутствовал на его опытах. О приезде Юма в Петербург, разумеется, очень скоро узнали при дворе. Прежде всех императрица Мария Александровна пожелала его видеть, полагая, что Юм более или менее забавный фокусник. Его позвали в Царское Село, и там, в присутствии государя, двух императриц, великого князя и других лиц, стол действительно делал какие-то необыкновенные движения, не направляемый никакой видимой силой. Кроме того, вдовствующая императрица чувствовала и все присутствующие видели под ее платьем движение, которое успокоилось только тогда, когда, по настоятельному приглашению Юма, императрица дала свою руку этой невидимой силе, приводящей в движение складки ее платья, и тогда почувствовала, что кто-то до руки ее действительно прикоснулся. На всех присутствующих эти опыты произвели более или менее сильное впечатление, но в особенности под влиянием этой загадочной силы были государь и великий князь Константин Николаевич. Сей последний, вообще весьма склонный к мистицизму, с увлечением предан верчению столов и всяким исследованиям таинственных сил.

На другой день после первого представления в Царском Селе он был приглашен в Стрельну, к великому князю, где должны были возобновиться опыты. В этот день, по желанию Ольги Николаевны, я был приглашен с ней обедать в Стрельну. За обедом я узнал о имеющем быть вечером представлении Юма, и, хотя просил позволения присутствовать при этом представлении, мне великий князь отказал, объявил, что уже назвал Юму всех тех, которые будут присутствовать. За обедом пришли сказать, что государь также придет в 8 часов. Принц Вюртембергский — муж Ольги Николаевны — также должен был остаться на вечер, чтобы присутствовать при опытах Юма. Так как меня решительно не приглашали остаться, то я после обеда уехал и не знал, что засим происходило. Спустя дня два после этого, а именно 11-го июля, по случаю именин Ольги Николаев-

ны, был тот бал на собственной даче, о котором я упомянул выше сего. На балу я подошел к принцу Вюртембергскому и спросил его, как он был доволен представлением Юма. Тут принц, хотя я и знал, что он вообще с придурью, но удивил меня тоном своего ответа. Он очень сердито отвечал, что остался очень недоволен, что такими вещами шутить нельзя и что всякий человек, имеющий религиозное понятие, должен уважать дух отца. Я, признаюсь, сначала ничего не понимал, о чем так горячится принц, но потом стал он доказывать мне, что государю и великому князю вредно заниматься подобными вещами, в которых явно действует какая-то сверхъестественная сила. Из всего этого я догадался, что на вечере в Стрельне происходило что-нибудь действительно необыкновенное. Наконец, частью из слов Ольги Николаевны, которая, говоря со мною, предполагая, что я все знаю, частью из горячего спора Константина Николаевича с Вюртембергским, при котором я случайно присутствовал, а также из расспросов я узнал, что действительно в Стрельне не только вертелся стол и ходили стулья, но был также эпизод, сильно поразивший государя, а именно: стол близко подошел к государю, и когда он спросил, чей это дух действует, то стоявший близ государя стул сильно отдвинулся, как бы кто с него встал, и это движение напоминало обыкновенное движение стула, когда с него вставал покойный государь. Что видел государь при этом, я хорошенько не знаю, но только он пришел в ужасное смущение, а с Юмом сделался какой-то нервический припадок, ибо, по словам его, он сам не властен останавливать и направлять действие невидимых сил, им вызываемых. Сколько во всем этом действует воображения — мне неизвестно, ибо я сам ни разу не присутствовал ни на одном представлении Юма, но верно то, что этот человек не просто шарлатан и что силы, приводимые им в действие, не суть силы известные и подходящие под законы физические. Как бы то ни было, но необыкновенный эпизод, случившийся в Стрельне, не только не прекратил в государе и великом князе желание продолжать опыты, но, напротив, еще больше заинтересовал их, и с тех пор представления Юма повторяются. В разговоре за мазуркой императрица тоже высказала мне свое беспокойство. Но, к счастью, вскоре после этого бала у Юма пропала сила (по его словам, способность вызывать эту силу является у него только по временам) и опыты сами собой прекратились. Просматривая в 1860 году эти записки, нужным считаю дополнить, что Юм вскоре в Петербурге женился на сестре жены графа Кушелева-Безбородко, не помню, кто она по себе, в течение 1858-го года он еще несколько раз при ней бывал у государя, но это продолжалось недолго, Юм уехал из России, и тем все это дело кончилось.

На сих днях умер здесь, почти на моих руках, художник Иванов. Эта смерть сильно меня поразила. Она так же знаменательна, как знаменательна смерть внезапная и преждевременная всех наших талантливых людей.

С Ивановым я познакомился в прошлом году в Риме. Дружба его с Гоголем и суждения Гоголя о его картине «Явление Христа народу» возбудили во мне сильное желание ближе с ним познакомиться. В первый раз я встретил Иванова у И. С. Тургенева в Риме и на другой же день был у него в мастерской, где картина уже выставлена для публики, хотя публику еще не пускали, ибо Иванов все еще не решался открыть свое сокровище, стоившее ему 20-летних

трудов, на суд толпы. Хотя я не знаток, или, лучше сказать, потому что я не знаток, картина мне с первого раза не понравилась. Потом я к ней привык, оценил ее частные достоинства, но, признаюсь откровенно, никогда не мог найти в ней тех красот, о которых писал Гоголь и другие. Вероятно, я умел скрыть от Иванова впечатление, произведенное на меня его картиной, ибо он не только не дичился меня, но с первых дней знакомства, видя искреннее мое желание быть ему полезным, близко сошелся со мной. Весьма скоро я заметил в Иванове такие странности, которые заставляли многих предполагать в нем болезненное расстройство. Отшельническая жизнь, в течение 20-ти лет им веденная, и постоянное сосредоточение на одном предмете хотя должны были иметь, без сомнения, влияние на его характер, но, не в зависимости от сего, в его необязательности, в его преувеличенных опасениях интриг врагов, в его чрезмерной высокой оценке малейшего этюда нельзя было не заметить следов душевного расстройства. Когда же студия его открылась для публики и зашла речь об отправлении его картины в Петербург, он как будто совсем потерялся. Я выхлопотал ему через великую княгиню Елену Павловну, бывшую тогда в Риме, разрешение отправить его картину за казенный счет. Великая княгиня дала даже деньги для снятия с картины фотографий. Все это несколько успокоило Иванова, но, как будто предчувствуя, что в Петербурге его ждет могила, он, как трусливый ребенок, боялся возвращения в Россию. Судя по письмам Гоголя, я предполагал в Иванове глубокие религиозные убеждения, но, к удивлению своему, заметил, что в этом отношении в нем произошла глубокая перемена. Впоследствии я узнал, что действительно в духовной борьбе, через которую он, по словам Гоголя, проходил, он изнемог и впал в безверие, но на этом остановиться не мог, искал разрешения своих сомнений в учении германских философов, но не нашел успокоения, и это была, вероятно, одна из главных причин его душевного расстройства. Приехав в июне вместе с картиною своею в Петербург, он пришел ко мне, и я с готовностью предложил ему свои услуги. Со стороны академического начальства он встретил ежели не равнодушие, то некоторое недоброжелательство. Государь видел картину мельком, о покупке ее завязалось дело, которое начало ходить по всем инстанциям, что очень сердило Иванова, желавшего скорее развязаться и уехать опять в Италию. Картину начали ценить люди, не совсем расположенные к Иванову; все это, при подозрительности его, еще более расстроило его нервы. В это время появилась в газетах статья с неблагоприятным отзывом о картине Иванова; предполагая, что статья эта писана по внушению академического начальства, он окончательно стал терять благоразумие и терпение. При таком расположении духа малейшая неосторожность в пище при свирепствовавшей, хотя не эпидемической, но довольно сильной, холере, могла быть для него губительной. В первых числах июля поехал он в Сергиевск, на дачу великой княгини Марии Николаевны, <чтобы> как от президента Академии узнать окончательное решение о своей картине. Мария Николаевна не могла его принять, это еще более его взбесило; в Петербург он уже явился с болью в животе, вскоре открылись все признаки сильной холеры. Он жил на бедной квартире молодых художников братьев Боткиных. На другой день ко мне приез-

жал дворник дома и сказал, что Иванов умирает. Я сейчас же к нему отправился, дорогою встретил доктора Буяльского, взял его с собой, но мы нашли Иванова уже без всякой надежды, но еще в памяти. Я стал его уговаривать приобщиться, на что он согласился, потом я расспросил его последнюю волю, которую записал в форме духовного завещания, и к вечеру он скончался. Несколько часов спустя принесли на имя Иванова конверт из придворной конторы, в котором его уведомили, что государь купил его картину за 15 тысяч рублей серебром. Сам Иванов ценил ее с этюдами в 30 тысяч рублей. Смерть Иванова возбудила в публике негодование против людей, принявших равнодушно художника русского. На похоронах публика до кладбища несла гроб, на могиле было сказано несколько сильных слов. Один какой-то господин, между прочим, с азартом сказал: «Давно мы ждали Иванова и картину его, много о нем говорили и писали, носились слухи, что французы и англичане предлагали огромные суммы за картину, мы спрашивали себя, что же даст Россия Иванову за его картину... Могила — вот, что дает Россия всем своим талантам» и проч. ... По просьбе друзей Иванова, я принял на себя быть его душеприказчиком и по этому поводу писал великой княгине Марии Николаевне письмо, в котором уведомлял ее о желании покойного, чтобы его картина, вместе с этюдами, была поставлена в Москве, в школе рисования.хлопоты мои остались тщетны. Этюды были выставлены здесь и проданы по частям. Всего за картину было выручено 30 тысяч рублей, и деньги эти, согласно завещанию покойного, переданы были брату его, также художнику, живущему в Риме. Нельзя не пожалеть об утрате замечательного художника, но думаю, что Иванов едва ли в состоянии был бы еще произвести что-нибудь замечательное. Станный колорит его картины, по мнению многих, доказывал, что самое зрение его уже расстроилось, а восстановления душевных способностей ожидать было трудно, ибо, видимо, этот человек пережил себя и не вышел победоносно из той нравственной борьбы, в которой находился в ту эпоху, когда о нем писал Гоголь. Как бы то ни было, но судьба Иванова принадлежит к тем необъяснимым замечательным фактам, которыми Провидение стремится вразумить нас, отнимая у нас одного за другим все таланты.

Искренне сожалею, что прекратил дневник свой, постараюсь воспоминаниями пополнить пробелы и рассказать, что помню, о главнейших обстоятельствах, ознаменовавших конец 1858-го и весь 1859-й и 1860-й годы. Крестьянский вопрос преимущественно сосредоточивал на себе внимание России. Редакционная комиссия работала с усиленной энергией, душою ее были Милютин, Черкасский и Самарин. Для истории деятельности этой Комиссии остается много материалов, как в напечатанных трудах ее, так, вероятно, в частных мемуарах и записках. Но только современники и близкие свидетели главнейших тружеников по этому делу могут оценить их заслуги. Все невидимые, неосознаваемые и ежедневные затруднения, противодействия, с которыми им приходилось бороться, были непомерны. Я лично не принимал непосредственного участия в работе Редакционной комиссии, но, будучи тесной дружбой связан с главнейшими деятелями, я постоянно следил за их работами, участвовал в спорах и совещаниях их и помогал, насколько мог, отра-

жать и удержать их от нападков клеветы, лжи и всякого рода интриг. Обстоятельства дали мне возможность быть в этом случае полезным.

После возвращения моего из-за границы я попал в большую милость при дворе. Государь и в особенности императрица были очень ко мне милостивы и очень часто приглашали к обеду. Все это знали. Это придавало мне некоторое значение в отношениях с людьми, но, кроме того, зная, к какой партии я принадлежу, многие видели в моем успехе доброжелательство и к моим приятелям.

Помню, однажды, в начале осени 1858-го года, был я с докладом у великого князя в Стрельне, в это время приехала туда вдовствующая императрица Александра Федоровна, с которой я не был вовсе знаком, ибо при Николае ко двору не ездил. Великий князь меня ей представил. Они пробыли в Стрельне полчаса и отправились назад в Петергоф. Великий князь, вернувшись в кабинет, сказал мне: «Матушка просит вас к ней сейчас поехать чай пить». Я был в сюртуке³⁷ и вовсе не готовился к придворному вечеру. Однако делать было нечего, и я сейчас же отправился в Петергоф, в Александрию. У императрицы никого гостей не было, одна дежурная фрейлина разливала чай, и я, таким образом, провел вечер в разговорах с прелюбезной, как оказалось, старушкой, которая очень рада была видеть свежего человека. Я заметил, что она не прочь была посмеяться и даже очень легко смеется, поэтому мне нетрудно было ее посмешить. Старушке, кажется, я понравился, потому что после этого она несколько раз приглашала меня в городе в Аничков дворец, где она жила после смерти покойного государя. Я несколько вечеров читал ей повести Тургенева. Так я познакомился под конец ее жизни с императрицей Александрой Федоровной, и так как она представилась мне без всякого блеска ее прежнего величия, то и оставила во мне впечатление доброй старушки, без всяких серьезных мыслей и всякого определенного направления. По-видимому, она никогда не имела и не могла иметь какого-нибудь влияния на общественные дела. Я, однако, мог заметить в ней какое-то неопределенное неудовольствие против современных нововведений, но это скорее был просто бессознательный протест старушки, недовольной видом новых форм обмундирования, новых порядков в распределении занятий дня и проч. и проч. ...

В октябре месяце двор переехал на несколько дней в Гатчину, где и в прежние времена живал по нескольку дней, собственно, для удовольствия. В Гатчину на жительство приглашаются обыкновенно только избранные. Меня, к величайшему моему удивлению, позвали на другой день после переезда на вечер. Я приехал, не зная всех придворных обычаев, с намерением вернуться в город в тот же вечер, но меня тут же пригласили остаться на три дня. В этот вечер был спектакль в зале, и императрица пригласила меня сесть рядом с нею, так что я очутился сидящим между нею и Еленой Павловной, имея позади себя государя. Я немало был удивлен такими почестями, и мне казалось, что я превратился вдруг в какого-то немецкого принца. По совести могу сказать, что ни одной минуты не очарован я был такими знаками внимания, я так был уверен, что неспособен удержать за собой столь блестящее положение, что не мог чрезмерно обольщаться. Не зная, за что на меня так милостиво смотрят, мне казалось все это как-то странным. Положение было неловкое, глав-

1861 год

ное потому, что я ни с кем из приближенных почти не был знаком и потому никак не мог рассчитывать на чью-либо поддержку. В Гатчине целый день проводится в веселье и еде. Утром, в 12 часов, собираются все приглашенные идти к завтраку, потом отправляются или гулять, или на охоту, или кататься. В 4 часа опять собираются к обеду и остаются в общей зале, так называемом арсенале, до 6-ти или 7-ми часов. В 9 часов опять собираются или на бал, или в театр, а иногда и то и другое, и так до 2-х часов ночи, и каждый день одно и то же. К обеду и к вечеру к живущим гостям присоединяются приезжие из города, званые только на вечер. Жизнь в Гатчине могла бы быть очень приятной, ежели бы круг гостей был бы между собой теснее связан и ежели бы препровождение времени было бы разнообразно устроено. Но для этого нужны элементы, которых, к сожалению, в высшем обществе нет. Без участия умных, интересных и талантливых людей очень трудно что-нибудь устроить.

1861 год

7-го января. С чувством тревожным ожидания великих событий встретил я Новый год. Не нужно быть прозорливым прорицателем, чтобы предсказать наступившему Новому году важное историческое значение. Не только в Европе и Азии, но и в Америке должны совершиться события, последствия которых достоверно определить невозможно. Итальянский и восточный вопросы с весны нынешнего года поднимут на ноги всю Европу, а у нас, кроме того, крестьянский вопрос сам по себе уже произведет такой переворот, который на скрижалях истории отмечен будет чертами неизгладимыми и может послужить началом новой исторической эры. Невозможно верить в совершенно мирный исход крестьянского вопроса, еще много лет будет он стоять на очереди, но от первого момента его разрешения будет зависеть характер его дальнейшего развития. Нет такой силы, которая могла бы удержать в пределах все враждующие партии и указать им правильный путь к примирению, поэтому вся и единственная надежда на Бога и на ту невидимую силу случайностей, которая с самого начала вела этот вопрос помимо воли и задуманных намерений представителей всех партий.

Тот, кто следил с самого начала за ходом крестьянского вопроса, кому были известны все подробности и закулисные тайны их, тот не может не верить в непосредственное участие Провидения в этом деле. Даже все первостепенные деятели, которые имели, по-видимому, самостоятельное в деле участие, не могут дать себе ясного отчета в добытом результате. Необъяснимым остается для потомства как самая решимость государя возбудить вопрос, которому он прежде не сочувствовал, так и быстрый ход его, несмотря на единодушное стремление всех лиц, власть имеющих, ежели не совсем задержать его, то по крайней мере весьма замедлить его радикальное разрешение. С той же неизвестностью приближается ныне вопрос крестьянский к своей окончательной развязке. На днях он поступил из Комитета в Государственный совет. Тут готовится сильная по численности оппозиция, но слабая по качествам ее

представителей. Можно почти с достоверностью полагать, что проект Редакционных комиссий будет утвержден государем с весьма незначительными изменениями. Но вопрос будет состоять теперь в порядке исполнения. Тут все представляется загадкой — и форма объявления народу, и средства сохранения порядка. Дай Бог, чтобы и тут факт не оправдал бы ожиданий, ибо ожидания весьма тревожны. Проект Манифеста, который приглашал меня Милютин прочесть для замечаний, еще более убедил меня в невозможности объявить народу освобождение в этой форме. Вероятно, первоначальная редакция еще несколько раз будет изменена, но, как бы то ни было, невозможность в Манифесте соблюсти приличия и удобопонятливость при краткости изложения останется та же, и я продолжаю думать, что, кроме Манифеста или просто указа, полезно было бы издать объявление народу языком, ему понятным, написанное и с изложением тех главных правил положения, которые главнее всего ему нужно знать. К Новому году ждали больших перемен в личном составе высшего управления. На место едва живого князя Орлова, говорили, назначат едва движущегося графа Блудова, на место его — Панина, на место Панина — Замятнина, а на место сего последнего — меня. Но ничего из сих предположений не оправдалось. Не знаю даже, собственно, была ли обо мне речь серьезно или только городской слух. Великий князь будет, со своей стороны, содействовать моему назначению, но может случиться, что его и не спросят, а, конечно, ни Панин, ни Замятнин меня рекомендовать не станут.

28-го января. Сегодня первое заседание Государственного совета по крестьянскому делу под председательством самого государя. Заседание продолжалось с 12-ти часов до 6-ти. Государь открыл его речью. Все единогласно свидетельствуют, что государь говорил с замечательным красноречием. Он начал с краткого исторического обзора вопроса, объявил решительное свое намерение кончить непременно это дело в нынешнем году и не позже половины февраля. Он сказал, между прочим, что крепостное право, установленное самодержавною властью, не может быть отменено иначе, как той же самодержавною властью. Я не читал текста речи, но, судя по отзывам, она должна быть замечательна. Затем приступили к обсуждению главных вопросов, в них заключались преимущественно спорные начала.

В Главном комитете вырешено три мнения. Первое, к которому принадлежало большинство, приняло проект Редакционных комиссий почти без изменений. Второе мнение, представленное Муравьевым, к которому пристали Долгоруков и Княжевич, отличалось от мнения большинства существенно только тем, что отвергало цифры наделов, предлагаемые Редакционными комиссиями, и возлагало на губернские присутствия определить размеры наделов. Третье мнение, представленное князем Гагариным, предлагало освобождение без определенного законом надела, предоставляя все любовным соглашениям. Вопросы, предложенные на сегодняшнем заседании Государственного совета, имели главной целью разрешить в принципе эти разногласия. На вопрос, следует ли количество земли быть определено правительством или предоставлено совершенно добровольным соглашениям, большинство отвечало

в смысле первом. Засим предложен был вопрос о том, следует ли теперь же назначить размер надела или предоставить это губернским присутствиям, — на этот вопрос мнения разделись почти поровну. Государь предоставил себе сказать свое мнение при утверждении журнала заседания. Много говорено было речей, но оппозиция, как и следовало ожидать, не отличалась ни красноречием, ни строгою последовательностью. Несколько членов, как то: Панин и Строганов, на которых рассчитывала оппозиция, перешли на сторону Редакционных комиссий, и нет сомнения, что государь будет также на этой стороне. В петербургских салонах сильное негодование. Кажется, убедились, что государь намерен действовать решительно и что дело ни отсрочено, ни изменено быть не может.

Вчера было замечательное заседание Главного комитета, в котором государь объявил, что Главный комитет обратится в место постоянное и будет заведовать всеми делами сельских обывателей. Он выразил мнение, что с уничтожением крепостного состояния нет основания иметь отдельные управления Государственных имуществ, Уделов, и что дела по окончательному устройству всех сельских обывателей должны быть сосредоточены в Главном комитете, в котором министр Государственных имуществ, Уделов и внутренних дел будут членами и дела будут докладываться ему Комитетом. Он предоставляет себе назначить особых членов и председателя. Эта важная мера придумана самим государем. Муравьев хотел сделать замечание, но государь остановил его, сказав, что он это уже решил.

Вообще нельзя не удивляться энергии государя и решимости его идти во что бы то ни стало к цели. Прежде можно было предполагать, что он не отдает себе ясного отчета в предпринятых им преобразованиях, но теперь видно, что он не только вполне усвоил себе все подробности вопроса, но и сознает все возможные последствия реформы. Когда вспомним, что Николай Павлович созывал один за другим 9 комитетов и что всякий раз останавливался на пустой полумере вследствие доходивших до него толков, то нельзя не признать за Александром Николаевичем той храбрости, которой недоставало покойному отцу его. Разговор какого-нибудь князя Сергея Михайловича Голицына сбивал Николая с толку, а теперь все кругом государя не сочувствует реформе — в самом семействе, кроме великого князя Константина, ежели не явно, то втихомолку осуждают меру, но государь как будто ничего не слышит, не высказывается ни той ни другой стороне, а в данном случае действует сознательно.

Вчера в Главном комитете и сегодня в Государственном совете государь обнимал и благодарил великого князя Константина Николаевича, и, действительно он заслуживает этого — с необыкновенным рвением и усердием занимался он все это время вопросом и благодаря своим необычайным способностям изучил его во всех подробностях. Нельзя и в этом участии великого князя в крестьянском вопросе не видеть особенного удивительного явления. Как упорно отклонялся великий князь от участия в этом деле, могут знать только те, кто видел его близко. Когда дело поступило в Главный комитет, он решительно объявил, что не будет им заниматься и что его дело быть моряком и больше ничего. Он не хотел даже прочесть извлечений из трудов Комиссии,

для того чтобы ознакомиться с ними и не сидеть в Комитете безгласным членом... Великая княгиня, подстрекаемая разными влияниями, со своей стороны, хлопотала о том, чтобы не допускать его до занятий крестьянским вопросом. Вдруг, совершенно неожиданно, по случаю болезни князя Орлова, государь назначает его председателем Комитета, несмотря на все его сопротивление. Необходимость заставила его заняться, и тогда, раз уже он принялся за дело, то предался ему усердно. Все время он председательствовал в Главном комитете, по отзыву даже врагов его, с необыкновенным искусством и имел на дело решительное влияние. Таким образом, этот человек, против своей воли и почти насильственно, попал в дело, которое дает ему важную страницу в истории России. В обществе неизвестны все эти подробности, и теперь, особенно в провинции, все убеждены, что великий князь все это дело затеял, что он руководил государем и проч. и проч. ... Его считают не только главою красной, или либеральной, партии, но честолюбцем, имеющим свои затаенные и коварные замыслы. Вот как пишут историю...

14-го февраля. Совет³⁸ кончил рассмотрение проекта, существенных изменений не сделано. В экстренном собрании у государя некоторых членов Комитета решено объявить Манифест с Великим постом. Проект Манифеста посылали в Москву митрополиту Филарету для редакции. На сих днях митрополит Филарет прислал свои редакции — говорят, очень хороши. Очень умно сделали, что привлекли Филарета к участию в редакции Манифеста, кроме того, что лучше его вряд ли кто-либо мог написать подобный акт, но авторитет его имени расположит уже в пользу редакции всю оппозиционную публику. Предполагалось объявить Манифест 19-го числа, но к этому времени печатание Положения не окончится, и, кроме того, ежели объявить в Петербурге 19-го числа, то в России это объявление пришлось бы на самой масленице, что, конечно, очень опасно. Жаль только, что народ ждет почти повсеместно чего-нибудь к 19-му числу, и весьма вероятно, что здесь в этот день будет какая-нибудь манифестация. Одно простое любопытство, без всяких посторонних целей, может привлечь несколько сот человек на площадь перед Сенатом или дворцом, и тут малейшая оплошность полиции может произвести скандал. К тому же, 19-го числа, кроме праздника восшествия на престол, еще воскресенье, а в этот день обыкновенно бывает на Неве бег³⁹, и перед обедом пропасть народу гуляет перед дворцом. Сохрани Бог от всякого, даже малейшего беспорядка, ибо слух о нем в преувеличенном, конечно, виде пройдет по всей России и может произвести там волнения. Уже и здесь теперь врут немало всякого вздора. Так, рассказывали, будто великий князь Константин Николаевич ранен пулей. Не знаю, какие предупредительные меры принимает явная и тайная полиция, но очень трудно сказать, что бы следовало сделать, ибо невозможно заранее предвидеть все неизбежные случайности.

18-го февраля. Из Варшавы получены известия весьма печальные 15-го числа. Шайка злоумышленников хотела, под предлогом поминовения умерших в Грахувском сражении⁴⁰, сделать процессию по городу. Полиция помешала. На дру-

1861 год

гой день в разных местах города стали собираться толпы, и в войска бросали камнями. Тогда в одном месте один матрос должен был стрелять; по сведениям, сообщенным по телеграфу, убитых 6 и раненых тоже 6. На другой день все было спокойно, но ежели беспорядки повторятся, то Варшава будет объявлена на военном положении. Других подробностей пока нет, видимо, поляки рассчитывают на крестьянский вопрос, который в завтрашний день должен окончательно решиться и привести всю Россию в волнение. Но на помощь извне им, кажется, теперь рассчитывать нельзя. Кроме публичной манифестации, все предводители дворянства в Царстве Польском подали в отставку. Не знаю ни значения, ни характера движения в Польше. Князь Михаил Дмитриевич Горчаков, вероятно, в большом смущении и суете. Желательно было бы иметь в Варшаве кого-нибудь помолже и поспокойнее. Не знаю, как государь принял это известие.

Сегодня я был у великого князя и мог довольно долго с ним говорить. Это в первый раз, как он занимается крестьянским вопросом, хотя здесь все убеждены, что я сильно действую и имею влияние на великого князя по крестьянскому делу, но, повторяю, я в первый раз сегодня с ним говорил об этом деле. Я поздравил его с последним днем старой истории России и с наступлением н о в е й ш е й э п о х и.

Сегодня последнее заседание Государственного совета, и завтра государь подпишет Манифест, но он не будет объявлен прежде Великого поста. Несмотря на то, завтра, по всей вероятности, народ будет толпиться на площади перед дворцом и ожидать чего-нибудь. Дай Бог, чтобы прошло это без эпизода.

Несмотря на массу подметных писем, в которых страшат государя разными страшилищами, он стоит твердо. Одно из этих писем было прочитано государем в присутствии нескольких министров. В нем, между прочим, сказано, что против государя готовятся кинжалы, и умоляют его поберечь хотя бы семью, ибо ее беречь не будут.

Говоря об оппозиции, государь сказал раз Ланскому: «Народ все-таки будет доволен, ему будет лучше, а дворяне могут меня убить, я на это готов, но дело все-таки останется». Не знаю, этими ли именно словами он сказал это, но мысль, говорят, та.

Великий князь так еще переполнен и проникнут крестьянскими делами, которыми он почти три месяца занимался, что не может ни о чем другом говорить, и говорит с одушевлением. Очень удивляется, что ему приписывают и само поднятие крестьянского вопроса, и влияние на государя. Он знает, что его в обществе единодушно все ругают, но, кажется, смотрит на это равнодушно. Он сказал мне, что теперь распускают слухи, будто дворянство хочет отстранить себя от всяких должностей. Я ответил ему, что этого едва ли можно опасаться. Место свято пусто не будет. Что-то Бог даст завтра... В газетах так глупо было объявлено о том, что завтра объявления не будет, что народ может подумать, что все совсем отложено.

19-го февраля. Благодаря Богу сегодняшний день прошел совершенно благополучно, не было даже признака волнения, и на набережной перед дворцом было даже менее народу, чем обыкновенно в воскресенье во время бега. Дай

Бог, чтобы и дальнейшие наши опасения и тревоги были также неосновательны. Вечером я сегодня был у великой княгини Ольги Николаевны, которая приехала сюда с мужем по случаю кончины императрицы Александры Федоровны и до сих пор еще живет здесь. Из Варшавы, кажется, дурных известий нет.

5-го марта. Объявление Манифеста об освобождении крестьян.

Наконец свершилось великое дело... В России нет больше крепостного состояния... Сегодня вышел Манифест и был читан во всех церквях. При этом не было ни тени беспорядка, везде при конечных словах народ крестился. Государь на разводе в манеже сказал речь офицерам, объявил им о выходе Манифеста и выразил им надежду, что они как представители дворянства будут продолжать служить ему верно и усердно. Слова его были встречены громким «ура», и народ, собравшийся на площади перед манежем, в числе не более 1000 человек, подхватили это «ура»... Вот единственная манифестация сегодняшнего дня. На улицах даже незаметно никакого особого движения. Сегодня последний день масленицы, и даже пьяных менее обыкновенного. Я ходил на гуляние и не слышал в народе ни одного слова о свободе. Сказывают, что в Исаакиевском соборе были чины разных посольств, они надеялись присутствовать при необыкновенном каком-либо зрелище народного ликования, но, к величайшему их удивлению, ничего не видали. Я сам не знаю, как объяснить эту необыкновенную сдержанность в народе; отчасти это можно приписать неожиданности, ибо вчера еще никто не знал, что сегодня будет объявление, а отчасти, может быть, двухлетний срок⁴¹, о котором в Манифесте и в объявлениях так утвердительно говорится, охладил порыв радости. Манифест вообще немногими понят, и из него нельзя видеть, в чем заключается реформа. Когда вчитаются, то увидят, что не только через два года, но и с сегодняшнего дня многое сделано... Это будет сюрприз... Какой великий день для государя. Что бы ни случилось, но памятник он себе уже воздвиг...

6-го марта. Я был сегодня у великого князя, мне хотелось его поздравить с окончанием великого дела, в котором он принимал такое важное участие. Я обнял его искренно. Он сам очень доволен и в восторге от государя, от его непоколебимой твердости и спокойствия. Он сказал мне, что государь, которого он сегодня видел, сказал ему, что вчерашний день был для него светлым праздником. Великий князь сказал мне, что уже подписал Указ о распространении прав, дарованных крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, и на крестьян удельных и дворцовых, а также и на государственных относительно права выкупа земли в собственность. Усиленные занятия крепостным вопросом произвели на великого князя самое благотворное влияние. Он заметно возмужал и образовался. Теперь, видимо, он заинтересовался общим государственным делом, так что морская его специальность стоит на втором плане. Он очень хорошо знает, как его ругают, но, по видимому, очень равнодушен к этим ругательствам. Его в особенности

забавляет то, что ему приписывают инициативу всего этого дела и полагают, что он подбил государя к этой реформе. Для потомства останутся неизвестными все мелкие подробности всего этого дела, но тем, кто знает, как неохотно принялся великий князь за крепостное дело, действительно смешно слышать все толки о замыслах великого князя и проч. и проч. ... Он получил благодарственный рескрипт, но я его не читал, он будет напечатан завтра. Великий князь сказал мне, что не позволил бы напечатать его, ежели бы благодарность относилась только к его лицу, но так как государь через него благодарил всех членов Главного комитета, то нельзя его не обнародовать. В память вчерашнего дня будет выбита медаль и раздана всем, участвовавшим в работах по вопросу, для ношения в петлице. Члены бывших Редакционных комиссий усиленно просили, чтобы им не было никаких наград. Великий князь не знает еще, удастся ли уговорить государя не награждать членов Редакционных комиссий. Действительно, труд Редакционных комиссий таков, что всякая награда неуместна. Имена главных деятелей этих Комиссий, как то: Милютина, Самарина и Черкасского, останутся в памяти истории, хотя в Манифесте, по настоянию, говорят, графа Панина, и не упоминается вовсе о Редакционных комиссиях. Весьма немного сделано изменений в проекте, составленном Редакционными комиссиями. Опыты и время покажут достоинства и недостатки этого проекта, но во всяком случае судить его строго нельзя, принимая во внимание всю внешнюю обстановку, все те влияния, среди которых издавался, или, лучше сказать, склеивался проект. Можно было бы написать весьма любопытную для потомства книгу обо всех эпизодах, сопровождавших работу Редакционных комиссий.

Сегодня я обедал у великой княгини Елены Павловны. Она тоже ликует. Относительно ее участия в крепостном вопросе общественное мнение выражается весьма различно. Одни приписывают ей весьма сильное влияние и считают ее главной виновницей или по крайней мере сильным двигателем возбужденного вопроса. Другие приписывают ей роль *de la mouche du coche**. Правда находится между этими двумя мнениями. Она, точно, очень много хлопотала и много содействовала вопросу тем, что умела приближать к себе людей и сводить их для взаимной деятельности. Ее влиянию обязаны тем, что государь перестал с недоверчивостью смотреть на лиц, заподозренных в прежнее царствование, и через посредство ее улаживались нередко частные недоразумения. Но так как она сама не пользуется большим доверием и любовью всей семьи, то влияние ее далеко не имело того значения, какое ей приписывают. Во всяком случае, нельзя отрицать необыкновенных достоинств в этой женщине: большая восприимчивость, неутомимая деятельность, настойчивость и умение пользоваться людскими слабостями — вот ее орудия. В моих суждениях о ней я не подкуплен 14-летним ее расположением ко мне, я сам многим ей обязан, и здесь не место писать подробную ее характеристику. Я только хочу сказать, что в крепостном вопросе следы ее влияния незаметны, но отрицать их нельзя, и даже, может быть, против воли и сами того не замечая, многие, и

* Здесь: назойливой мухи.

Второй том

в том числе и царь, действовали под впечатлением этого влияния. Но все это не ослабляет той совершенной истины, что главным виновником конца крепостного права был сам царь, и ему одному принадлежит вся честь и слава. Влияние Ростовцева было весьма сильное, и Ростовцев сделался эмансипатором совершенно случайно и только потому, что увидел непреклонную на то волю царя. Великая княгиня сказала мне, что накануне ездила поздравлять государя и была у обедни в Зимнем дворце. Кроме Константина Николаевича и нее, вся остальная семья, и в том числе императрица, не сочувствовали радости государя. Из Москвы получены известия, что объявление Манифеста и там совершилось без малейшего беспокойства. Начало хорошо, что-то будет впереди — это одному Богу известно. Между тем польские дела, в моих глазах, очень серьезны, и мне кажется, значение их здесь не понимают. По крайней мере из нескольких слов, сказанных мне великим князем, я мог заключить, что он думает, что беспорядок в Польше произведен буйным меньшинством, с которым нетрудно будет сладить материальной силой. Такой взгляд ошибочен и может иметь плачевные результаты. Мне кажется, пришла теперь минута принять относительно Польши решительные меры и признать, что польский вопрос существует и что штыками его не разрешить.